

1971.01.24. 1438

В. МАЯКОВСКИЙ

190246-1







В. МАЯКОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Л. Ю. БРИК

И

П. К. ЛУЦПОЛА

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1936**

В. МАЯКОВСКИЙ

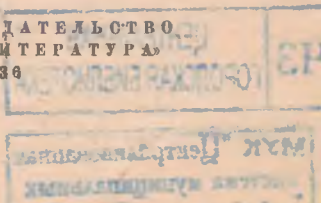
ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХИ ПОЭМЫ

ПЬЕСЫ

1912—1921

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА—1936

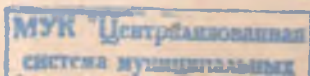
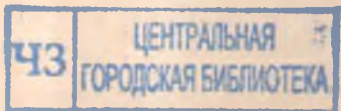


844 (Эростов) 6

М 33

В „Собрание сочинений в 4-х томах“ входят все поэмы Маяковского, пьесы „Владимир Маяковский“, „Мистерия Буфф“, „Клоп“ и „Баня“, избранные стихотворения 1912—1930 гг., стихи детям, статья „Как делать стихи?“

Материал расположен по томам в хронологическом порядке. Том первый включает годы 1912—1921, том второй — 1921—1925, том третий — 1925—1927, том четвертый — 1928—1930.



190246-1





ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

И. Сталин

1

Трудно сейчас говорить и писать о Владимире Маяковском, и не потому, что он сам не любил жанра „похвальных слов“ и иронически представлял себе:

через столько-то, столько-то лет
.....
меня
.....
профессора разучат до последних нот,
как,
когда,
где явлен, —

с этим можно было бы и не считаться, а потому, что Маяковский — это даже не вчера, а сегодня и, может быть, в известном отношении, наше поэтическое завтра.

Маяковский — весь наш, поэт нашей советской эпохи, поэт Октябрьской социалистической революции.

Азбучной истиной является то, что для многих интеллигентов Октябрьская революция оказалась труднейшей проблемой. Признавать или не признавать? — этот новоявленный вопрос отечественных Гамлетов наполнял и продолжает наполнять тысячи страниц рассказов, повестей и романов в прозе и стихах. Этого вопроса не существовало для Маяковского.

В чем причины принятия Маяковским Октябрьской революции с первых же ее дней? Родился ли он большевиком? Был ли потомственным пролетарием? Может быть, шел за другими без своего „царя“ в голове? — Нет, нет и нет! Своим большим сердцем он почувствовал, своим светлым умом он понял, где правда, и решительно примкнул к рабочим, пошедшим на последний штурм твердынь капитализма.

Можно ли сказать, что Маяковский никогда не ошибался? — Нет, он совершал много ошибок, но, учась на них, он через ошибки шел к истине. Маяковский прошел путь не ординарный, в своих подробностях наверное не типический, и тем не менее этот путь — большой путь большого человека — является образцом для представителей среды, его породившей и его окружавшей, да и для многих его собратьев по перу, ибо это — путь, идя по которому, Маяковский-поэт стал непартийным большевиком.

Нельзя сказать, что до Октябрьской революции Маяковский знал, куда идти, но он знал, что нужно идти против („сегодняшняя поэзия — поэзия борьбы“, — писал он в 1914 году) и знал, правда, несколько отвлеченно и „поэтически“, против кого нужно идти: против

города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу,

против
массомясой быкомордой оравы,

против тех, кто

брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88,

наконец, против тех, кто

смеет называться поэтом
и, серенький, чирикать как перепел.

Иногда этими противниками выступали не люди, а вещи, в довольно абстрактном „поэтическом“ представлении:

В земле городов нареклись господами
И лезут стереть нас бездушные вещи.

Но если в этих отвлеченных людях и вещах все же прощупывается настоящий противник со своим классовым лицом, то с кем идти на борьбу — это было в то время Маяковскому неясно. Отсюда — столь распространенные, пожалуй, доминирующие в его ранней поэзии мотивы одиночества:

Я одинок, как последний глаз
У идущего к слепым человека, —

пишет он в стихотворении „Несколько слов обо мне самом“. А в стихотворении „Надоело“ сочетает ту же тему с темой страданий, мучений, причем — и это характерно — не мучения проистекают от одиночества, в условия которого, можно было бы подумать, субъективно поставил себя поэт, а одиночество как объективный факт вытекает из мучений, которые испытывает поэт при виде окружающих его условий.

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая итти,
а сказать кому?

Каждый находит себе спутников, союзников, собратьев, — у поэта их нет:

„Кесарево кесарю — богу богово“.
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово? —

пишет Маяковский в стихотворении „Себе, любимому, посвящает эти строки автор“. И он вправе был сказать так, потому что тогда, когда писались эти строки, Маяковский уже не был ни „богов“, ни „кесарев“.

Отсюда же, от этого незнания и неумения молодого Маяковского найти себе союзников или самому влиться в ряды борцов — мотивы собственной необходимости, мотивы почти отчаяния:

Пройду,
любвищу мою волоча.
В какой ночи
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

В то время, стало быть, Маяковский еще не видел революционного рабочего класса, хотя в конце первого десятилетия XX века он и принимал участие в революционной деятельности.

Но борьба в одиночку невозможна, — это он понимал, — и вот, мелкобуржуазный бунтарь, он думал

найти себе союзников в люмпенах, в изгоях, в социальных париях; правда, он не очень-то был в них уверен, но был готов собою, своим бунтарским подвигом одиночки как бы искупить всю горечь и скверну их бытия. Эти мотивы жертвенности и искупления, в довольно, впрочем, смутной абстрактной форме, также проходят через творчество молодого Маяковского.

Однако было ясно, что дальше так продолжаться не может, — слишком много мук, слишком много повсюду горя.

Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь, —

пишет поэт в 1915 году в „Тринадцатом апостоле“, по цензурным соображениям переименованном в „Облако в штанах“.

Это громадное горе усугубляется еще тем, что в наличных общественно-политических условиях его нельзя даже высказать:

улица корчится безъязыкая, —
ей нечем кричать и разговаривать.

Насильственная немота „улицы“, безъязыкость по принуждению передается и поэту:

... у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик, —

пишет он в стихотворении „А все-таки“.

Хочется и нужно кричать о социальном зле, о слезах мира, о громадном горе, о страданиях сотен тысяч и миллионов, мы бы сказали более конкретно — об эксплуатации трудящихся при капитализме, об угнетении колониальных народов, о подготовке к организованной мировой войне и о начале уже этой войны, — а Маяковскому приходится писать подцен-

зурные подобия сатир в „Новом сатириконе“. И вот, обращаясь к самому себе, он признается:

... в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.

Линия борьбы при довольно абстрактном определении тех, против кого нужно бороться, и при отсутствии ясного представления о тех, с кем нужно идти на борьбу, конечно, не могла не сочетаться с довольно смутной мыслью и о том, во имя чего же необходимо вести эту борьбу.

В плане лирическом, субъективном, индивидуальном это — будущее с будущими, не теперешними людьми:

В богадельнях идущих веков,
может быть, мать мне сыщется, —

так пишет Маяковский в стихотворении „От усталости“, и этот же мотив повторяется в стихах „Ко всему“.

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
бсль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души!

Но личный план переключается в план абстрактно-гуманистический. Это — то, что можно назвать гуманизмом раннего Маяковского. Он мечтает о том времени, когда

Мир зашевелится в радостном гриме,
цветы испаелинятся в каждом окошке.

Он жаждет прихода этого будущего и представляет себе, как тогда

Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.

Он верит, что такое время наступит, —

И он,
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте.

Это будущее есть будущее всего человечества, всех народов.

Я вам только головы пальцами трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык
родной всем народам.

Таким образом план абстрактно-гуманистический есть в то же время и план абстрактно-интернациональный.

Подобные социальные, мы бы сказали — утопически-социалистические, тенденции переплетаются и соперничают у раннего Маяковского с тенденциями космическими, конечно, не становясь от этого более конкретными, но неизменно оставаясь теплыми, гуманистическими. „Сегодня“, то есть в будущем, в социальной утопии Маяковского, — так пишет он в „Войне и мире“, —

у капельной девочки
на ногте мизинца
солнца больше,
чем раньше на всем земном шаре.

„Вселенная, — убежден Маяковский, — расцветет еще радостна, нова“.

Почему гуманизм молодого Маяковского заслуживает названия утопического? Потому что, как уже было сказано, он абстрактен, неясен как цель, и потому, что у Маяковского отсутствуют хоть скольконибудь отчетливые представления о пути, ведущем к этой цели. Отсюда — в качестве резюме личных переживаний дореволюционного Маяковского — сознание бессилия изменить то, что, по его же мысли, непременно должно быть изменено:

Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
Я вот тоже
ору,
а доказать ничего не умею!

Вследствие всего этого в первые годы своего творчества Маяковский выглядит не столько как борец, сколько как бунтарь; в то время он не столько атеист, сколько бог борец, не созидатель, а разрушитель, и при всем том — огромное сердце, горячая душа; он видит зло, скверну социального строя, в котором он живет, он мучится и готов быть испителем, готов взять на себя все слезы мира. В трагедии „Владимир Маяковский“, обращаясь к „униженным и оскорбленным“, он говорит:

Я добреду,—
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер.

В это время он не столько призывает к революции, сколько предчувствует ее в качестве отмищения чьей-то вины. „Даже переулки засучили рукава для драки“, — пишет он в той же трагедии.

Сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж,—

так объявляет он в 1914 году, а уже в следующем,
1915 году гремит еще более пророчески:

Вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.
Где глаз людей обрывается куцый
главой голодных орд,
в терновом венке революций
грядет шестнадцатый год.
А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.

Отсюда ясно, что было бы совершенно неверно трактовать Маяковского как некоего подготовителя революции, ее предвосхитителя или пионера, но он был ее „предтечей“ в том смысле, что чувствовал ее приход. В бегении пульса общественной жизни, в канунных схватках перед генеральным классовым боем он почувствовал дыхание пролетарской революции, революции миллионов, и открыто пошел ей навстречу, как к чему-то близкому, родному, своему.

Этой встрече революции способствовало еще одно немаловажное обстоятельство, которое в сильнейшей степени подталкивало Маяковского к рабочему классу, а именно — мировая империалистическая война.

Маяковский увидел потоки человеческой крови, услышал крики миллионов жертв этой бойни и понял ее как продолжение политики господствующих классов, как прямое следствие наличного общественно-политического строя.

И хотя он писал:

помните,
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни,—

но война не только не убила его, но способствовала его пробуждению к новой жизни, помогла ему освободиться от гнетущего одиночества, побороть в себе чувство бессилия и, наконец, найти ту армию, бойцом которой он призван был быть.

Именно в период империалистической бойни его бунтарство доходит до высшего предела. Он призывает:

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы.

Таким образом, хотя Маяковский и не был подготовителем революции и ее активным непосредственным участником, но он оказался вполне подготовленным к ней, и когда она наступила, он был уже целиком с ней.

Первый же его отклик на Февральскую революцию 1917 года чрезвычайно показателен: он несет на себе налет прошлого — понимание революции как и скупления, как осуществления той всеобщей любви, которая грезилась Маяковскому-гуманисту, и вместе с тем содержит в себе осмысление будущего — понимание социалистических задач революции:

Верую
величью сердца человеческого!
Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается зыблостью
социалистов великая ересь!

Поэтическая мысль Маяковского все более и более, так сказать, политизируется и из плана космического и абстрактного переходит в план земной и конкретно-политический. Непосредственно после свержения самодержавия, то есть на первых же этапах революции, его поэзия начинает приобретать черты, свойственные всему периоду революционного Маяковского.

Так, не позже июля 1917 года он пишет про кадетов „Сказку о красной шапочке“, в которой вскрывает всю их псевдореволюционность:

Жил да был на свете кадет.
В красную шапочку кадет был одет.
Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
ни черта в нем красного не было и нету.

Так, далее, не позже августа 1917 года он поэтически откликается на важнейший в те дни вопрос о продолжении войны „до победного конца“ и показывает, во имя чего необходима эта война отечественной буржуазии:

Во имя чего
сапог
землю растаптывает, скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
Свобода?
Бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь рост
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос.
за что воюем?

Поэтому-то к великому Октябрю Маяковский шел уже вместе с рабочим классом, найдя себе место в его рядах. Он называет для себя Октябрьскую социали-

стическую революцию „четырежды благословенной“, издает свой известный „Приказ по армии искусств“, в котором заявляет:

Довольно грошевых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти,
площади — наши палитры, —

создает знаменитый „Левый марш“ и с правом пишет о себе в 1925 году:

Пролетарии
приходят к коммунизму
низом,
низом шахт,
серпов
и вил —
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

2

Октябрьская социалистическая революция вызвала Маяковского к новой жизни, она как бы поставила его на рельсы, с которых он уже больше не сходил. То, что по содержанию было в его творчестве неясно, смутно, что едва виделось как светлое будущее, что преподносилось больше как желаемое, чем как понимаемое, приобрело четкий контур, ясные очертания, вполне реальное содержание. Октябрьская социалистическая революция указала Маяковскому и цель, и путь, и спутников-руководителей; она вела его от похода к походу, от битвы к битве, по всем датам революционного календаря. Он поистине стал поэтом революции.

Революция не была для него рыцарем, а он — лишь оруженосцем; тем более она не была для него прекрасной дамой, а он — ее вздыхающим пажем; она не стала для него Христом „в белом венчике из роз“, а он — ее мучеником; не была она для него и заказчиком, а он — ее исполнителем или подмастерьем, — нет, она была революцией, а он — ее боевым поэтом. Он был поэтом революции не потому, что писал о революции, а потому, что писал для революции, потому, что его стихи были тоже боевым оружием революции.

В 1927 году на диспуте об есенинщине, обращаясь к поэтам, Маяковский говорил: „Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? И если даже ты скапустился на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: „Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная“.

Содержание поэзии Маяковского за все революционные годы есть содержание самой революции, всех ее конкретных этапов и периодов. День в день, нога в ногу идет с ней Маяковский. В период гражданской войны темы его стихов — гражданская война, и нужно сказать, что в своем творчестве он побывал на всех фронтах, прежде всего бросаясь на самые угрожаемые их участки, неутомимо работая в „Окнах Роста“. Дальше, захватывая период восстановительный, он попрежнему день в день откликается на все события, работает своим пером и на военном, и на хозяйственном, и на культурном фронтах. Достаточно прочесть хотя бы заглавия его стихотворений, чтобы убедиться в чрезвычайном, исчерпывающем тематическом многообразии его творчества.

Маяковский взывает о помощи голодающим, агитирует за займы, прививает культурные навыки, пропа-

гандирует санитарные мероприятия, призывает „учиться торговать“ и сам пишет торговые стихи-рекламы — и в то же время неустанно твердит об обороне страны, отмечает каждое большое достижение в области хозяйственного строительства, бодрит молодежь, борется с бюрократизмом, волокитой, обрушивается на мещанский быт и т. д., и т. п. Творчество Маяковского — лучшее поэтическое раскрытие содержания социалистического строительства на всех его участках.

Маяковский был поэтом революции, но чтобы полностью охарактеризовать его, оттенить специфические черты его творчества и личности, можно перенести ударение и сказать: Маяковский был поэтом революции. Правда, известны разговоры и „разговорчики“ вокруг него, исходившие и от врагов и от „друзей“, о том-де, что, переключившись на лозунги и агитки, Маяковский как поэт иссяк, что, коротко говоря, он перестал быть поэтом. Такие же, примерно, злопыхательские „разговорчики“ велись и в самом начале XX века вокруг великого пролетарского писателя А. М. Горького, когда воочию увидели революционный характер его творчества. Эти с потугами на ехидство „идейки“ шли, конечно, из классово-враждебного лагеря и были выражением в равной мере и враждебного отношения к социалистической революции и враждебного отношения к революционной эстетике, в данном случае к сознательно и убежденно принятой Маяковским эстетике борьбы и революции.

В последний год жизни Маяковский, оглядываясь на пройденный путь, говорил о себе:

Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,

ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии
— бабы капризной.

Но в том-то и дело, что, влившись в революционный поток, поставив свое перо на службу революции, Маяковский не ушел из поэзии, что все свои произведения он творил именно как поэт и что его поэтическая служба революции обогатила его именно как поэта. Он вырос и окончательно сформировался, он стал Маяковским именно на этой революционной повседневной поэтической работе.

Нет у нас другого поэта, кто мог бы так, как Маяковский, переключать личное, лирическое — в общее, эпическое — в социальное и социально-политическое, и притом не переходить от одного к другому, а в подлинном смысле слова совмещать, поэтически и вдохновенно сливать одно с другим. Мастерскими образцами такого совмещения личных и социальных моментов, лирических и эпических мотивов являются его поэмы: и „Облако в штанах“, и „Про это“, и мощное „Хорошо“.

Еще в своем „Люблю“, в 1922 году, Маяковский писал:

Комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.

Этот „лирикой вытомленный“ поэт поистине научился любить рабочий класс, трудящихся, научился ненавидеть классовых врагов пролетариата, и немудрено, что эти любовь и ненависть просвечивают в каждом его произведении и входят основным моментом в его эстетику.

Капитализм —
неизящное слово,

„ласка
и лозунг,
и штык,
и кнут.

Действительно, стих Маяковского для одних был лаской, для других — грозным, как штык, для третьих — страшным, как кнут. Поэтому-то он и мог создать такие одновременно и нежные в любви, и сильные в ненависти стихи, как „Товарищу Нетте, пароходу и человеку“ или „Советский паспорт“ — образцы лирики Маяковского. Поэтому-то он был и остается лучшим поэтом нашей советской эпохи.

Отсюда ясно понимание Маяковским задач поэзии, его неустанные требования, чтобы поэзия связала себя с борьбой, с революцией, его нелюбовь и буквально преследование поэтов — певцов только „любвей“ и „соловьев“.

Пожалуй, от самых ранних до самых последних его творений тянется длинный ряд его поэтических и прозаических высказываний на тему о задачах поэзии и ее основных характерных чертах содержательного и формального свойства. Еще до революции он ненавидел тех поэтов, при чтении которых, как он выражался, „в сердце заводится мокрица и мозг зарастает густейшим волосом“. Он ядовито и с издевкой обращался к ним:

Неужели не наскучили пажи, дворцы,
любовь, сирени куст вам?
Если такие, как вы — творцы,
мне наплевать на всякое искусство.

Такие поэты не перевелись и после Октябрьской революции, она лишь разметала их в разные стороны. Одни из них быстро оказались по ту сторону баррикад, в лагере белогвардейцев, в белой эмиграции. Маяковский

лишь поэтически констатировал этот небезызвестный исторический факт:

Лиры
крыл
пулемет-обормот,
и, взяв
лирические манатки,
сбежал Северянин,
сбежал Бальмонт
и прочие
фабриканты патоки.

Другие, как ни в чем не бывало, и после революции продолжали подвизаться в своем прежнем жанре, в том жанре, о котором Маяковский отзывался иронически и кратко: „сконапель ля поэзи“. Любой такой поэт „тинтидликал мандолиной, дундудел виолончелью“, и Маяковский, теряя терпение, кричал ему:

Посмотрю с лица ли, сзади ль, —
вы тюльпан, а не писатель,
вы, мусью, из канареек,
чижик вы, мусью, и дрозд.

Третьи оказались приспособленцами, пошляками. Не понимая революции, не чувствуя ее, не принимая ее ни своим скудным рассудком, ни своим „поэтическим“ нутром, они силились чисто внешними средствами, искусственными поэтическими приемами создать впечатление „воспевания“ революции. В результате получилось опошление социалистической стройки, лакировка действительности, сусальность и сюсюканье по поводу революции. Таким приспособленцам, чуждым революционной борьбы, Маяковский насмешливо предлагал набор рифм к 1 Мая:

мечты, грезы, народы, пламя,
цветы, розы, свободы, зная.

Содержание его творчества из предыдущего уже вкратце известны: это содержание было на высоте революции. Но облик Маяковского-поэта останется неполным, если умолчать о его поэтической форме. Эта форма стояла на том же высоком уровне. Пожалуй даже, в отношении поэтической формы Маяковского нельзя сказать „стояла“, потому что и она была в движении, и поэтическое „хозяйство“ Маяковского последних лет, конечно, отличается от поэтического хозяйства раннего Маяковского.

Что характерно уже для раннего периода его творчества? Твердое убеждение в том, что старый поэтический язык, старая система образов, вся поэтическая технология, весь арсенал поэтических средств должны быть радикально изменены. В самом деле, старая поэтическая форма в основе своей и в подавляющем количестве своих представителей шла от музыки, сочеталась с более или менее тихой, плавной, спокойной жизнью и несомненно, хотя и не непосредственно, была связана со всей эстетикой господствовавших классов. Символисты — последнее крупнейшее поэтическое течение — пытались внести кое-что новое в образы и в гносеологическую природу поэзии; эти их попытки шли в линии заигрывания их с французским и отечественным интуитивизмом, но в общем и у них поэтическая форма оставалась старой. Что же касается содержания их поэзии, то общеизвестно, что, за редчайшими исключениями (революционные стихи В. Брюсова), оно было бесконечно далеко от сколько-нибудь широкого читателя.

В противоположность символистской форме и в борьбе с ней строилась поэтика Маяковского. Прежде всего его поэтическая форма ориентировалась на речь обыденную, разговорную, дискуссионную, ораторскую.

Это влекло за собой ряд существенных изменений. В гносеологическом отношении это знаменовало утверждение рассудка, разума — в противоположность нечувственной интуиции и подсознательным или бессознательным идеалистическим моментам; в то же время это не сушило поэтической формы, напротив — сдабривало ее чувствами, но чувствами „земными“, а не „потусторонними“, чувствами, которыми наполнена вся конкретная жизнь конкретно-исторического человека и без которых невозможны ни речь, ни мысль, ни сама жизнь: любовью к своим по классу и по борьбе, ненавистью к врагам, гордостью за социалистическую родину, нежностью к близкому человеку, и т. п.

Далее, это влекло за собой изменение как ритма, так и метрики. Вместо опоры на музыку выступала опора на разговор, как мы уже сказали — на речь, а если говорить специально о живописи — опора на плакат. Это ломало старый поэтический ритм и приближало поэзию к повседневной жизни. В метрике вместо силлабо-тонического стихосложения, господствовавшего в русской поэзии уж во всяком случае со времен Державина и вытеснившего совершенно несвойственное русскому языку стихосложение силлабическое, выступала чисто тоническая метрика, при которой количество слогов в стихотворной строчке перестало играть какую бы то ни было роль, поскольку решающее значение осталось лишь за ударениями. Такое изменение в метрике русской поэзии в свою очередь чрезвычайно повышало роль рифмы как опоры стиха, а сама рифма становилась, мы бы сказали, не рифмой по буквам, а рифмой по звуку. Все эти изменения, как бы к ним субъективно ни относиться, означали революцию в русской поэтической форме, которую можно сравнить лишь с революцией при переходе от силлабической метрики к метрике сил-

лабо-тонической, то есть при переходе от Антиоха Кантемира и Вас. Тредьяковского к Державину и Богдановичу, не говоря уже о Пушкине.

До Октябрьской революции, при не найденном еще содержании, при не обретенной еще идее всей поэзии, это означало у Маяковского деструктивные принципы, разрушение, взрыв старой поэтической формы и вело вместе с тем к футуристическому экспериментаторству, к поэтическому трюкачеству, к словотворчеству, к „стихам-оборотням“, которые можно читать и слева направо, и справа налево. В той или иной мере это пугало и эпатировало буржуа. Нужно, однако, сказать, что и в то время Маяковский сознавал и не переоценивал эту „побочную функцию“ своего поэтического дела. Так, еще в 1914 году в статье „Теперь к Америкам“ он писал: „Правда, у нас было много трюков только для того, чтобы эпатировать буржуа“.

Было, конечно, и худшее. Холостой ход формального новаторства вел Маяковского к совершенно неправильным выводам вроде, например, таких афоризмов: „содержание безразлично“, „слово — самодель“, „не идея рождает слово, а слово — идею“, „искусство — свободная игра познавательных способностей“, и т. п.

Но идея пришла с Октябрьской социалистической революцией, пришла во всей силе и конкретности; она подчинила себе форму, заставила ее работать на себя, и форма слилась с содержанием воедино.

Правда, это далось Маяковскому не сразу. Такие произведения 1918 года, как „Наш марш“, еще сильны старыми футуристическими приемами; эти последние сильно дают себя знать еще и в 1920 году, в „150 000 000“. Но дальше Маяковский начинает писать без зауми и словесных вывертов, без излишнего и неоправдываемого словотворчества, просто, доступно, народно.

Он сам отдавал себе отчет в этом повороте к простоте и народности:

Я обкармливал.
Я обкармливался деликатесами досыта.
Ныне
мозг мой чист.
Язык мой гол.
Я говорю просто —
фразами учебника Марго, —

пишет он в „Пятом Интернационале“.

Эта манера писать просто, доступно, народно означала у Маяковского писать „весомо, грубо, зримо“ и вместе с тем по-новому, то есть так, как до него не писал никто, писать именно „по-Маяковскому“ — в новой форме и с новым для поэзии содержанием, что и определяло его новаторство в собственном смысле слова, его мастерство стиха, мастерство формы.

Все это ставило и теоретически и практически вопрос о качестве поэзии и требовало от поэта величайшего чувства ответственности перед читателем. Здесь вставали два вопроса: во-первых, кто этот новый читатель поэзии и, во вторых, что этому новому читателю нужно давать.

На первый вопрос Маяковский отвечал точно и недвусмысленно. „Только рабочая аудитория,—говорил он в Райдومه Красной Пресни 25 марта 1930 года, — только пролетарско-крестьянские массы, те, что сейчас строят новую жизнь нашу, те, кто строит социализм и хочет распространить его на весь мир, только они должны стать действительными чтецами, и поэт этих людей должен быть я“. И вот чувство ответственности перед читателем пронизывает все пореволюционное творчество Маяковского. Как программа всей его поэзии звучат строки из стихотворения „Верлен и Сезан“:

Вы чуете
 слово
 — пролетариат —
ему
 грандиозное надо.
Из кожи
 надо вылазить тут...

При таком подходе к этому читателю, конечно, не может быть деления на большое или высокое искусство „для избранных“ и малое или низкое искусство „для массы“. Разговоры о неподготовленности массового читателя, о непонимании им искусства свидетельствуют лишь о незнании этого читателя или о нарочитом высокомерном отношении к нему. Обращаясь к таким „теоретикам“, Маяковский говорит:

Понимает
 ведущий класс
и искусство
 не хуже вас.
Культуру
 высокую
 в массы двигай!
Такую,
 как и прочим.
Нужна
 и понятна
 хорошая книга
и вам,
 и мне,
 и крестьянам,
 и рабочим.

Отсюда и призыв Маяковского к товарищам-поэтам: „Давайте работать до седьмого пота над поднятием количества, над улучшением качества“. Этот призыв выражает не эгоистическое стремление — только чтоб я был хорош! — а товарищеское приглашение ко всем поэтам. Маяковский искренен и выражает свое задушевное желание, когда заявляет:

А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.

Он сам был замечательным поэтом и хотел, чтобы таких поэтов было много.

Не нужно канонизировать его поэзию, нельзя декретировать подражания ему, но ясно, что после Маяковского уже нельзя писать стихи по-старому, писать их так, как писали до Маяковского.

Поэтому-то далеко не случайно, а, напротив, вполне закономерно влияние Маяковского и на современную русскую поэзию, и на поэтов национальных советских республик, и на радикальных поэтов Запада. В этом влиянии можно проследить некоторые дополнительные закономерности, проистекающие вследствие специфических особенностей тех стран, на поэзию которых оказало воздействие творчество Маяковского.

В национальных братских республиках, где советское, социалистическое содержание поэзии, так сказать, задано самой Октябрьской революцией и обеспечено непосредственно проведением ленинско-сталинской национальной политики, влияние Маяковского выражается по преимуществу в революционизировании традиционной поэтической формы. В буржуазных же странах Западной Европы и в Америке это влияние означает по преимуществу революционизирование традиционного содержания поэзии.

4

Было сказано, что после Маяковского уже нельзя писать стихи так, как их писали до Маяковского, примерно, так же, как после Пушкина уже нельзя

было писать стихи так, как их писали до Пушкина. Это неизбежно ставит вопрос об отношении Маяковского к Пушкину и вообще к классикам литературы. По этому вопросу накопилось много путаницы, много недоразумений. Известно, — говорят в таких случаях, — что по крайней мере в футуристический период Маяковский очень резко выступал против классиков.

Дело, однако, в том, что и в тот период своего развития, выступая формально против классиков, Маяковский, при тогдашнем своем эпатировании буржуа, метил не в Пушкина, а в эпигонов классической литературы и поэзии, в недостойных потомков достойных предков, в твердящих зады подражателей, в мертвящих классическую литературу академических последышей; Маяковский же искренне и с правом говорил о себе:

Ненавижу всяческую мертвечину,
обожаю всяческую жизнь.

Допустим, однако, что отдельные выступления и формулировки, да еще вырванные из контекста времени, могли давать повод к толкованию отношения Маяковского к классикам, как отношения прямолинейно отрицательного, но не эти высказывания Маяковского-бунтаря и разрушителя поэтических и вообще художественных канонов нужно брать при суждении по столь важному вопросу, а систематический ряд поэтических и теоретических его высказываний на эту тему уже в пореволюционный период.

Нужно взять хотя бы „Юбилейное“, написанное в 1924 году, в котором Маяковский душевно обращается к Пушкину:

Может,
я один
действительно жалею,

что сегодня
нету вас в живых,—

и многозначительно заканчивает:

Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.

Нужно взять запись известного выступления Маяковского на диспуте по поводу кинофильма „Поэт и царь“, в котором Маяковский увидел опошление образа великого поэта и со всем своим темпераментом обрушился за это на киноработников.

Нужно взять, далее, отзыв его о Некрасове из того же „Юбилейного“. В фамильярно-простоватых тонах, в которых выдержано и все стихотворение, Маяковский обращается к Пушкину:

А Некрасов
Коля,
сын покойного Алеши,—
он и в карты,
он и в стих,
и так не плох на вид.
Знаете его?
Вот он
мужик хороший.
Этот
нам компания —
пускай стоит.

Нужно взять, наконец, итоговое, обобщающее высказывание Маяковского, высказывание аутентичное и совершенно недвусмысленное: утверждали, говорил Маяковский 25 марта 1930 года, на собрании в Доме Комсомола Красной Пресни, „что я прямо целиком уничтожаю всех классиков. Никогда я этим глупым делом не занимался“... Я „отнюдь не за их уничтожение, а за изучение, за проработку их, за использо-

вание того, что есть в них нужного для дела рабочего класса“. С таким подходом к классическому наслeдству, конечно, нельзя не согласиться.

Несомненно, в Лефе были и не такие умонaстроения. Требования разрушения большого искусства, проповедь фaктографии, означавшая вообще ликвидацию литературы как рода искусства, были важными моментами в теоретических установках Лефа, но, как известно, Маяковский, поняв эти ошибки, сам распуcтил Леф и — главное — в период работы в Лефе силою своего таланта на практике прорывал эти установки.

Так обстоит дело с отношением Маяковского к классической литературе, ко всей культуре прошлого. Рациональное зерно этого отношения: прошлое нужно не ради прошлого, а ради будущего. В будущем, в коммунистическом будущем лежал ориентир поэзии Маяковского. Так ставилась волновавшая его проблема — поэзия и будущее, поэзия и завтра. Маяковский правильно решил эту проблему. Образно говоря, для поэзии и поэта только сегодня равно вчера. Другими словами, поэт весь должен быть не в прошлом, а в настоящем, в сегодня; но если он ограничивает себя только настоящим, только этим „сегодня“, то завтра же он будет уже принадлежать прошлому, окажется вчерашним днем.

Поэт должен быть весь в настоящем и вместе с тем рваться в будущее, в „завтра“. Именно сегодня и завтра для поэта означает действительно и всегда сегодня и завтра. Маяковский прекрасно понимал этот закон поэтической актуальности, действительности поэтического слова:

У нас

поэт

событья берет —

опишет
 вчерашний гул,
 а надо
 рваться
 в завтра,
 вперед,
 чтоб брюки
 трещали
 в шагу!

Так пишет он в „Верлене и Сезане“ и не раз
 возвращается к этой теме. В „Размышлениях об Иване
 Молчанове и поэзии“ он выражается еще более оп-
 ределенно и категорически:

Поэт
 настоящий
 вздувает
 заранее
 из искры неясной
 ясное знание.

Вот это заглядывание поэзии в будущее, ориен-
 тировка всего творчества на коммунистическое буду-
 щее, исходя из сегодняшней социалистической стройки,
 и является одним из важных элементов социалисти-
 ческого реализма, на котором настаивал Маяковский
 и которым он мастерски владел.

Отечество
 славлю,
 которое есть,
 но трижды —
 которое будет.

.

Я вижу —
 где сор сегодня гниет,
 где только земля простая, —
 на сажень вижу —
 из-под нее

Коммуны
дома
прорастают.

К этому же примыкает и тот художественный прием, который он любил применять и который принято называть гиперболизмом Маяковского. Гиперболизациями, гигантскими преувеличениями в поэтических образах уснащены как дореволюционные, так и пореволюционные произведения Маяковского, но при внимательном рассмотрении выясняется, что это не простая игра воображения, не внешний прием и не какая-то болезненная образная гигантомания, а глубоко осмысленный и прочувствованный поэтический прием, и притом не формального, а содержательного свойства. Дело в том, что в дореволюционной поэзии и в отношении образов капиталистического строя гиперболы Маяковского имеют целью усиление ненависти читателя к изображаемому поэтом явлению или событию; в пореволюционной поэзии и в отношении образов социалистического строя, Советского союза, гиперболы эти служат для усиления любви читателя к изображаемым явлениям и событиям.

Такой гиперболизм, осуществляющий социально- и политическо-художественную функцию, не только не противоречит социалистическому реализму, но также является одной из его отличительных черт.

Устремляясь в коммунистическое будущее, гиперболизируя в соответствии с ним настоящее, Маяковский-поэт и был и есть весь в сегодня и в завтра. Он с правом говорил о себе:

Я свое, земное, не дожил,
на земле свое не долюбил.

Поэтому-то, живя одной жизнью со своим, нашим, советским временем, которое тоже ориентировано на

будущее, „Маяковский, — говоря словами т. Сталина, — был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи“.

Мы не говорим нашим поэтам: пишите точно так же, как писал Маяковский, подражайте Маяковскому, копируйте Маяковского, но говорим: будьте такими поэтами, каким был Владимир Маяковский.

И. Луппол



1912—1917

ПОРТ

Простыни вод под брюхом были.
Их рвал на волны белый зуб.
Был вой трубы — как будто лили
любовь и похоть медью труб.
Прижались лодки в люльках входов
к сосцам железных матерей.
В ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей.

(1912)

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана:
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.

А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

(1913)

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!
Под флейгу золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песей
закружат созвездия „Магги“ —
бюро похоронных процессов
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

(1913)

ТЕАТРЫ

Рассказ о взлезших на подмосток
аршинной буквою графишь,
и заывают в вечер с досок
зрачки малеванных афиш.

Автомобиль подкрасил губы
у блеклой женщины Карьера,
а с прилетевших рвали шубы
два огневые фокстерьера.

И лишь светящаяся груша
о тень сломала копья драки,
на ветке лож с цветами плюша
повисли тягостные фраки.

(1913)

КОЕ-ЧТО ПРО ПЕТЕРБУРГ

Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полоски:
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.

И небу — стихши — ясно стало:
туда, где моря блещет блюдо,
сырой погонщик гнал устало
Невы двугорбого верблюда.

(1913)

НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ

Вошел к парикмахеру, сказал — спокойный:
„Будьте добры, причешите мне уши“.
Гладкий парикмахер сразу стал хвойный,
лицо вытянулось, как у груши.
„Сумасшедший!“
„рыжий!“ —
Запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
выдергиваясь из толпы, как старая редиска.

(1913)

ПОСЛУШАЙТЕ

Послушайте!

Ведь если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит кто-то хочет, чтобы они были?

Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной?

И надрываясь
в метелях полуденной пыли,
вывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку?
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
„Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!”
Послушайте!
Ведь если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтоб каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

(1913)

ЕЩЕ ПЕТЕРБУРГ

В ушах обрывки теплого бала,
а с севера — снега седей —

туман, с кровожадным лицом каннибала,
жевал невкусных людей.

Часы нависали, как грубая брань,
за пятым навис шестой.

А с неба смотрела какая-то дрянь
величественно, как Лев Толстой.

(1913)

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

„Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!“

И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!

Морду в кровь разбила кофейня,
зверьим криком багрима:

„Отравим кровью игры Рейна!
Громами ядер на мрамор Рима!“

С неба, изодранного о штыков жала,
слезы звезд просеивались, как мука в сите,
и подошвами сжатая жалость визжала:

„Ах, пустите, пустите, пустите!“

Бронзовые генералы на граненом цоколе
молили: „Раскуйте, и мы поедем!“

Прощающейся конницы поцелуи цокали,
и пехоте хотелось к`убийце — победе.

Громоздящемуся городу уродился во сне
хохочущий голос пушечного баса,

а с запада падает красный снег
сочными клочьями человеческого мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,
у злящейся на лбу вздуваются вены.

„Постойте, шашки о шелк кокоток
вытрем, вытрем в бульварах Вены!“

Газетчики надрывались: „Купите вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!“

А из ночи, мрачно очерченной чернью,
багровой крови лилась и лилась струя.

(1914)

МАМА И УБИТЫЙ НЕМЦАМИ ВЕЧЕР

По черным улицам белые матери
судорожно простерлись, как по гробу глазет.
Вплакались в орущих о побитом неприятеле:
„Ах, закройте, закройте глаза газет!“

Письмо.

Мама, громче!

Дым.

Дым.

Дым еще!

Что вы мямлите, мама, мне?

Видите —

весь воздух вымощен

громыхающим под ядрами камнем!

Ма — а — а — ма!

Сейчас притащили израненный вечер.

Крепился долго,

кургузый,

шершавый,
и вдруг —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шее Варшавы.
Звезды в платочках из синего ситца
визжали:

„Убит,
дорогой,
дорогой мой!“

И глаз новолуния страшно косится
на мертвый кулак с зажатой обоймой.
Сбежались смотреть литовские села,
как, поцелуем в обрубок вкована,
слезя золотые глаза костелов,
пальцы улиц ломала Ковна.

А вечер кричит,
безногий,
безрукий:

„Неправда,
я еще могу-с —
хе! —

выбрыцав шпоры в горящей мазурке,
выкрутить русский ус!“

Звонок.

Что вы,
мама?

Белая, белая, как на гробе газет,

„Оставьте!

О нем это,
об убитом, телеграмма.

Ах, закройте,
закройте глаза газет!“

(1914)

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
„Хорошо, хорошо, хорошо!“
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
„Что этс?“
„Как это?“
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
„Дура,
плакса,
вытри!“ —
Я встал,
шатаясь, полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
„Боже!“
Бросился на деревянную шею.
„Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:

я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!“
Музыканты смеются:
„Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!“
А мне — наплевать!
Я — хороший.
„Знаете что, скрипка?
давайте —
будем жить вместе!
А?“

(1914)

Я И НАПОЛЕОН

Я живу на Большой Пресне,
36,24.

Место спокойненькое.

Тихонькое.

Ну?

Кажется — какое мне дело,
что где-то
в буре-мире
взяли и выдумали войну?

Ночь пришла.

Хорошая.

Вкрадчивая.

И чего это барышни некоторые
дрожат, пугливо поворачивая
глаза громадные, как прожекторы?

Уличные толпы к небесной влаге
припали горящими устами,
а город, вытрепав ручонки-флаги,
молится и молится красными крестами.
Простоволосая церковка к бульварному из-
головью
припала,—набитый слезами куль,—
а у бульвара цветники истекают кровью,
как сердце, изодранное пальцами пуль.
Тревога жиреет и жиреет,
жрет зачерствевший разум.
Уже у Ноева оранжереи
покрылись смертельно бледным газом!

Скажите Москве —
пускай удержится!
Не надо!
Пусть не трясется!
Через секунду
встречу я
неб самодержца —
возьму и убью солнце!
Видите!
Флаги по небу полощет.
Вот он!
Жирен и рыж.
Красным копытом грохнув о площадь,
въезжает по трупам крыш!

Тебе,
орушему:
„Разрушу,
разрушу!“,
вырезавшему ночь из окровавленных кар-
низов,

я —

сохранивший бесстрашную душу,
бросаю вызов!

Идите, изъеденные бессонницей,
сложите в костер лица!

Все равно!

Это нам последнее солнце —
солнце Аустерлица.

Идите, сумасшедшие, из России, Польши
Сегодня я — Наполеон!

Я полководец и больше.

Сравните:

я и — он!

Он раз чуме приблизился тронем,
смелостью смерть поправ,—

я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф!

Он раз, не дрогнув, стал под пули
и славится столетий сто,—

а я прошел в одном лишь июле
тысячу Аркольских мостов!

Мой крик в граните времени выбит,
и будет греметь и гремит,

оттого, что

в сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид!

За мной, изъеденные бессонницей!

Выше!

В костер лица!

Здравствуй,

мое предсмертное солнце,
солнце Аустерлица!

Люди!
Будет!
На солнце!
Прямо!
Солнце съежится аж!
Громче из сжатого горла храма
хрипи, похоронный марш!
Люди!
Когда канонизируете имена
погибших,
меня известней,—
псмените:
еще одного убила война —
поэта с Большой Пресни!

(1915)

В А М!

Вам, проживающим за оргией оргию,
имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..

Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
жизнь отдавать в угоду?!

Я лучше в баре блядам буду
подавать ананасную воду!

(1915)

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане.
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандальное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы,
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груды!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;

судья поймал, и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
„Долина для некурящих“.

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: „Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток“.

Экватор дрожит от кандалных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды за-
конов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

(1915)

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ошетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного

удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, откусанной начисто
трактатом „О бородавках в Бразилии“.

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, какоглоблей ударенный
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноющаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в иоде.
Окаменелый обломок позапрошлого лета.
И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять ослабилось на людские безобразия,
и внизу, по тротуарам, опять пригостишки
деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;

ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

(1915)

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям играя носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не догелось ему,
благодару миноносью.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
„Р-р-р-астакая миноносина!“

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносью.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

(1915)

ГИМН ОБЕДУ

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюд всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
попрежнему будут ножки у пулярд,
и дышать попрежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры!?
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки,
все равно их зря отец твой выделал:
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —

молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
„Из стольких-то и стольких-то котлет мил-
лионов
твоих — четыреста тысяч“.

(1915)

ВОТ ТАК Я СДЕЛАЛСЯ СОБАКОЙ

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака, лицо луны гололобой, —
взял бы
и все обвыл.
Нервы, должно быть...
Выйду, —
погуляю.
И на улице не успокоился ни на ком я.
Какая-то прокричала про добрый вечер.
Надо ответить:
она — знакомая.
Хочу.
Чувствую —
не могу по-человечьи.
Что это за безобразие?

Сплю я, что ли?
Ощупал себя:
такой же, как был,
лицо такое же, к какому привык.
Тронул губу,
а у меня из-под губы —
клык.
Скорее закрыл лицо, как будто сморкаюсь.
Бросился к дому, шаги удвоив.
Бережно огибаю полицейский пост,
вдруг оглушительное:
Городовой! —
Хвост".
Провел рукой и остолбенел.
Этого-то,
всяких клыков почище,
я и не заметил в бешеном скаче:
у меня из-под пиджака
развеерился хвостище
и вьется сзади,
большой, собачий.
Что теперь?
Один заорал, толпу растя.
Второму прибавился третий, четвертый.
Смяли старушонку.
Она, крестясь, что-то кричала про чорта.
И когда, ошестинив в лицо усища-веники,
толпа навалилась,
огромная,
злая,
я стал на четвереньки
и залаял:
Гав! гав! гав!

(1915)

КОЕ-ЧТО ПО ПОВОДУ ДИРИЖЕРА

В ресторане было от электричества рыжю.
Кресла облиты в дамскую мякоть.
Когда обиженный выбежал дирижер,
приказал музыкантам плакать.

И сразу тому, который в бороду
толстую семгу вкусно нес,
труба — изловчившись — в сытую морду
ударила горстью медных слез.

Еще не успел он, между икотами,
выпихнуть крик в золотую челюсть,
его избитые тромбонами и фаготами
смяли и скакали через.

Когда последний не дополз до двери,
умер щекою в соусе,
приказав музыкантам выть по-зверьи, —
дирижер обезумел вовсе!

В самые зубы туше опоенной
втиснул трубу, как медный калач,
дул и слушал — раздутым удвоенный,
мечется в брюхе плач.

Когда наутро, от злобы не евший,
хозяин принес расчет,
дирижер на люстре уже посиневший
висел и синел еще.

(1915)

ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЗЯТОЧНИКАМ

Неужели и о взятках писать поэтам!
Дорогие, нам некогда. Нельзя так.
Вы, которые взяточники,
хотя бы поэтому,
не надо, не берите взятки.
Я, выколачивающий из строчек штаны,—
конечно, как начинающий, не очень часто,—
я — еще и российский гражданин,
беззаветно чтущий и чиновника и участок.
Прихожу и выплакиваю все мои просьбы,
прикивши щекою к светлому кителю.
Думает чиновник: „Эх, удалось бы!
Этак на двести птичку вытелю“.
Сколько раз под сень чиновник,—
приносил обиды им.
„Эх, удалось бы,— думает чиновник,—
Этак на триста бабочку выдоим“.
Я знаю, надо и двести и триста вам,
возьмут, все равно, не те, так эти;
и руганью ни одного не обижу пристава:
может быть, у пристава дети.
Но лишний труд — доить поодиночно,
вы так и ведете в работе года.
Вот что я выдумал для вас нарочно —
господа!
Взломайте шкапы, сундуки и ларчики,
берите деньги и драгоценности мамашины,
чтоб последний мальчонка в потненьком кула-
чике
зажал сбереженный рубль бумажный.
Костюмы соберите. Чтоб не было рваных.
Мамаша! Вытряхивайтесь из шубы беличьей!

У старых брюк обшарьте карманы —
в карманах копеек на сорок мелочи.
Все это узлами уложим и свяжем,
а сами без денег и платья
придем, поклонимся и скажем:
нате!
Что нам деньги, транжирам и мотам!
Мы даже не знаем, куда нам деть их.
Берите, милые, берите, чего там!
Вы наши отцы, а мы ваши дети.
От холода не попадая зубом на зуб,
станем голые под голые небеса.
Берите, милые! Но только сразу.
Чтоб об этом больше никогда не писать.

(1915)

ЧУДОВИЩНЫЕ ПОХОРОНЫ

Мрачные до черного вышли люди,
тяжко и чинно выстроились в городе,
будто сейчас набираться будет
хмурых монахов черный орден.

Траур воронов, выкаймленный под окна,
небо, в бурю крашенное,—
все было так подобрано и подогнано,
что волей-неволей ждалось страшное.

Тогда резверзлась, кряхтя и нехотя,
пыльного воздуха сухая охра,
вылез из воздуха и начал ехать
тихий катафалк чудовищных похорон

Встревоженная ожила глаз масса,
гору взоров в гроб бросили.
Вдруг из гроба прыснула гримаса,

после — крик „Хоронят умерший смех!“ —
из тысячерудого меха
гремел омиллионенный множеством эх
за гробом, который ехал.

И тотчас же отчаяннейшего плача ножи
врезались, заставив ничего не понимать.
Вот за гробом, в плаче, старуха-жизнь,
усопшего смеха седая мать.

К кому же, к кому вернуться назад ей?
Смотрите: в лысине — тот —
это большой, носатый,
плачет армянский анекдот.

Еще не забылось, как выкривил рот он,
а за ним ободранная, куцая,
визжа, бежала острота.
Куда — если умер — уткнуться ей?

Уже до неба плачей глыба.
Но еще,
еще откуда-то плачики, —
это целые полчища улыбочек и улыбок
ломали в горе хрупкие пальчики.

И вот сквозь строй их, смокших в один,
сплошной изрыдавшийся Гаршин,
вышел ужас — вперед пойти —
весь в похоронном марше.

Размокло лицо, стало — кашица,
смятая морщинками на вымуренном лбу,
а если кто смеется — кажется,
что ему разодрали губу.

(1915)

МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декаб-
рик —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
нищий у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разлились волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте.
А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.
Кони ли цокая по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под
взгляд ему,
а ему все кажется: „Цаца! Цаца!“ —
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,
будто у него на роже спектакль-гала
затеяла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки холеные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер, как из кости слоновой точен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

(1915)

Эй!

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?
Блажен, кто хоть раз смог,
хотя бы закрыв глаза,
забыть вас,
ненужных, как насморк,
и трезвых,
как нарзан.
Вы все такие скучные, точно
во всей вселенной нету Капри.

А Капри есть.

От сияний цветочных

весь остров, как женщина в розовом капоре.

Помчим поезда к берегам, а берег

забудем, качая тела в парокладах.

Наоткрываем десятки Америк.

В неведомых полюсах вынежим отдых.

Смотри, какой ты ловкий,

а я —

вон у меня рука груба как.

Быть может, в турнирах,

быть может, в боях

я был бы самый искусный рубака.

Как весело, сделав удачный удар,

смотреть, растопырил ноги как.

И вот, врага где предки,

туда

отправила шпаги логика.

А после, в огне раззолоченных зал.

забыв привычку спать,

всю ночь напролет провести,

глаза

уткнув в желтоглазый коньяк.

И, наконец, ошетишься, как еж,

с похмелья придя поутру,

неверной любимой грозить, что убьешь

и в море выбросишь труп.

Сорвем ерунду пиджаков и манжет,

крахмальные груди раскрасим под панцырь,

загнем рукоять на столовом ноже,

и будем все, хоть на день, да испанцы.

Чтоб все, забыв свой северный ум,

любились, дрались, волновались.

Эй!

Человек,

землю самое
зови на вальс!

Возьми и небо заново вышей,
новые звезды придумай и выставь,
чтоб, исступленно царапая крыши,
в небо карабкались души артистов.

(1916)

НАДОЕЛО

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет.
Опять,
тоскою к людям ведомый,
иду
в кинематографы, в трактиры, в кафе.
За столиком.
Сияние,
надежда сияет сердцу глупому.
А если за неделю
так изменился россиянин,
что щеки сожгу огнями губ ему.
Осторожно поднимаю глаза,
роюсь в пиджачной куче.
„Назад,
наз-зад,
назад!“
Страх орет из сердца.
Мечется по лицу, безнадежен и скучен.
Не слушаюсь.
Вижу,
вправо немножко,
неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,
старательно работает над телячьей ножкой

загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.

Глядишь и не знаешь: дышит или не ды-
шит он.

Два аршина безликого розоватого теста:
хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи
мягкие складки лоснящихся щек.

Сердце в исступлении,
рвет и мечет:

„Назад же!

Чего еще?“

Влево смотрю.

Рот разинул.

Обернулся к первому, и стало иначе:

для увидевшего вторую обратину

первый —

воскресший Леонардо да Винчи.

Нет людей.

Понимаете

крик тысячедневных мук?

Душа не хочет немая итти,

а ска ать кому?

Брошусь на землю,

камня корою

в кровь лицо изотру, слезами асфальт

омывая.

Истомившимися по ласке губами тысячью

поцелуев покрою

умную морду трамвая.

В дом уйду.

Прилипну к обоям,

где роза есть нежнее и чайнее?

Хочешь —

тебе

рябое
прочту „Простое как мычание“?

Для истории.

Когда все расселятся в раю и в аду,
земля итогами подведена будет —
помните:
в 1916 году
из Петрограда исчезли красивые люди.
(1916)

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опытываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?
Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.
Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора разучат до последних ижд,
как,
когда,
где явлен.
Будет

с кафедры лобастый идиот
что-то молотить о богодьяволе.
Склонится толпа
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я.
Облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.
Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я — пессимист.
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.
Слушайте ж:
все, чем владеет моя душа,
а ее богатства пойдите смерьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленипреклоненных соберет мировое вече, —
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.
Люди!
пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде

на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человеческое слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, —
как же,
найдешь его!

(1916)

М Р А К

Склоняются долу солнцеподобные лики их.
И просто мрут,
и давятся,
и тонут.
Один за другим уходят великие,
за мастодонтом мастодонт...
Сегодня на Верхарна обиделись небеса
Думает небо —
дай,
зашибу его!
Господи,
кому теперь писать?
Неужели Шебуеву?
Впрочем —
пусть их пишут.
Не мне в них рыться.
Я с характером.
Вол сам.
От чтения их
в сердце заводится мокрица
и мозг зарастает густейшим волосом.

И писать не буду.
Лучше
проверю,
не широка ль в „Селекте“ средняя луза.
С Фадеем Абрамовичем сяду играть в око.
Есть
у союзников французов
хорошая пословица:
„Довольно дураков“.
Пусть писатели начинают.
Подожду.
Посмотрю,
какую дрянью заначиняют
чемоданы душ.
Вспомнит толпа о половом вопросе.
Дальше — больше оскудеет ум ее.
Пойдут на лекцию Пессе.
„Финики и безумие“.
Изахолустничается.
Станет — Чита.
Футуризмом покажется театр Мосоловой.
Дома запрется —
по складам
будет читать
„Задушевное слово“.
Мысль иссушится в мелкий порошок,
и когда
останется смерть одна лишь ей,
тогда...
Я знаю хорошо —
вот что будет дальше.
Ко мне,
уже разукрашенному в проседь,
придет она,
повиснет на шею плакучей ивою:

„Владимир Владимирович,
милый“ —
попросит —
я сяду
и напишу чтонибудь —
замечательно красивое.
(1916)

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
— „Запирую на просторе я!“ —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница „Астория“. .
Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.
Прохожие устремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил
„Извините“,
наступив нечаянно на змеин хвост,
Император,

лошадь и змей
неловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк немея
Из пивших и евших не обернулся ни один.
И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя,
толпа сорвалась, криком сломана:
— „Жует!
Не знает, зачем они.
Деревня!“
Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.
Сбратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.
И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.
(1916)

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ
ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.
Тяжелые, как удар.

„Кесарево кесарю — богу богово“.
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?
Если б был я
маленький,
как Великий океан,—
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!
О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
нехватит золота всех Калифорний.
Если б быть мне косноязычным,
как Данте
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
— пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.
О, если б был я
тихий,
как гром,—
ныл бы,
дрожью объял бы земли одряхлевший скит.

Я
если всей его мощью
выреву голос огромный, —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.
Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!
Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

(1916)

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

ТРАГЕДИЯ

*Пролог.
Два действия.
Эпилог.*

ДЕЙСТВУЮТ:

Владимир Маяковский (поэт 2) — 25 лет).
Его знакомая (сажени 2—3. Не разговаривает).
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет).
Человек без глаза и ноги.
Человек без уха.
Человек без головы.
Человек с растянутым лицом.
Человек с двумя поцелуями.
Обыкновенный молодой человек.
Женщина со слезинкой.
Женщина со слезой.
Женщина со слезищей.
Газетчики, мальчики, девочки и др.

ПРОЛОГ

В. Маяковский.

Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей

стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.
Замечали вы —
качается
в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях
мосты заломили железные руки.
Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка
grimаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.
Пухлыми пальцами в рыжих волосиках
солнце изласкало вас назойливостью овода —
в ваших душах выцелован раб.
Я, бесстрашный,
ненависть к дневным лучам понес в веках;
с душой натянутой, как нервы провода,
я —
царь ламп!
Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто был
оттого, что петли полдней туги —
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,

как фонарные дуги.
Я вам только головы пальцем трону,
и у вас
вырастут губы
для огромных поцелуев
и язык
родной всем народам.
А я, прихрамывая душонкой,
уйду к моему трону
с дырами звезд по истертым сводам.
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза
и тихим,
целующим шпал колени
обнимет мне шею колесо паровоза.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Весело. Сцена — город в паутине улиц. Праздник нищих.
Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду —
железного сельдя с вывески, золотой огромный калач,
складки желтого бархата.

В. Маяковский

Милостивые государи!
Заштопайте мне душу,
Пустота сочиться не могла бы.
Я не знаю — плевков обида или нет.
Я сухой, как каменная баба.
Меня выдоили.
Милостивые государи,
хотите —
сейчас перед вами будет танцевать замечатель-
ный поэт?

(Входит старик с черными сухими кошками. Гладит.
Весь — борода.)

В. Маяковский.

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.
Разбейте днища у бочек злости,
ведь я горящий булыжник дум ем.
Сегодня в вашем кричащем тосте
я овенчаюсь моим безумием.

(Сцена постепенно наполняется. Человек без уха.
Человек без головы и др. Тупые. Стали беспорядком,
едят дальше.)

В. Маяковский.

Граненых строчек босой алмазник,
взметя перины в чужих жилищах,
зажгу сегодня всемирный праздник
таких богатых и пестрых нищих.

Старик с кошками.

Оставь.

Зачем мудрецам погремушек потеха?

Я — тысячелетний старик.

И вижу — в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.

Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь.

А свечи и лампы в галдящем споре
покрыли шопоты зорь.

Ведь мягкие луны не властны над нами, —
огни фонарей и нарядней и хлеще.

В земле городов нареклись господами
и лезут стереть нас бездушные вещи.
А с неба на вой человечесей орды
глядит обезумевший бог.
И руки в отрепьях его бороды
изъеденных пылью дорог.
Он — бог,
а кричит о жестокой расплате,
а в ваших душошках поношенный вздо-
шек.

Бросьте его!
Идите и гладьте —
гладьте сухих и черных кошек!
Громадные брюха возьмете хвастливо,
лоснящихся щек надуете пышки.
Лишь в кошках,
где шерсти вороньей отливы,
наловите глаз электрических вспышки.
Весь лов этих вспышек —
(он будет обилен!)
вольем в провода,
в эти мускулы тяги, —
заскачут трамваи,
пламя светилен
зарееет в ночах, как победные стяги.
Мир зашевелится в радостном гриме,
цветы испавлинятся в каждом окошке,
по рельсам потащат людей,
а за ними
все кошки, кошки, черные кошки!
Мы солнца приколем любимым на платье,
из звезд накуем серебрящихся брошек.
Бросьте квартиры!
идите и гладьте, —
гладьте сухих и черных кошек!

Человек без уха.

Это — правда!
Над городом,
— где флюгеров древки —
женщина
— черные пещеры век —
мечется,
кидает на тротуары плевки, —
а плевки вырастают в огромных калек.
Отмщалась над городом чья-то вина, —
люди столпились,
табуном бежали.
А там,
в обоях,
меж тенями вина,
сморщенный старикашка плачет на рояле.

(Окружают.)

Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту —
пальцы окровавишь!
А музыкант не может вытащить рук
из белых зубов разъяренных клавиш.

(Все в волнении.)

И вот
сегодня
с утра
в душу
врезал матчиш губы.
Я ходил, подергиваясь,
руки растопыря,
а везде по крышам танцевали трубы,
и каждая коленями выкидывала 44!
Господа!

Остановитесь!

Разве это можно?!

Даже переулки засучили рукава для драки.

А тоска моя растет,

непонятно и тревожно,

как слеза на морде у плачущей собаки.

(Еще тревожнее.)

Старик с кошками.

Вот видите!

Вещи надо рубить!

Недаром в их ласках провидел врага я!

Человек с растянутым лицом.

А может быть, вещи надо любить?

Может быть, у вещей душа другая?

Человек без уха.

Многие вещи сшиты наоборот.

Сердце не сердится,

к злобе глухо.

Человек с растянутым лицом

(радостно поддакивает).

И там, где у человека вырезан рот,

многим вещам пришито ухо!

В. Маяковский

(поднял руку, вышел в середину).

Злобой не мажьте сердец концы!

Вас,

детей моих,

буду учить непреклонно и строго,

Все вы, люди,

лишь бубенцы
на колпаке у бога.

Я
ногой, распухшей от исканий,
обошел
и вашу сушу,
и еще какие-то другие страны
в домино и в маске темноты
Я искал
ее,
невиданную душу,
чтобы в губы-раны
положить ее целящие цветы.

(Остановился.)

И опять,
как раб
в кровавом поте,
тело безумием качаю.
Впрочем,
раз нашел ее —
душу.
Вышла
в голубом капоте,
говорит:
„Садитесь!
Я давно вас ждала.
Не хотите ли стаканчик чаю?“

(Остановился.)

Я — поэт,
я разницу стер
между лицами своих и чужих.
В гное моргов искал сестер.
Целовал узорно больных.

А сегодня
на желтый костер,
спрятав глубже слезы морей,
я взведу и стыд сестер,
и морщины седых матерей!
На тарелках зализанных зал
будем жрать тебя, мясо, век!

(Спрывает покрывало). Громадная женщина. Боязливо. Вбегает Обыкновенный молодой человек. Суетится.

В. Маяковский
(в стороне — тихо).

Милостивые государи!
Говорят,
где-то
— кажется, в Бразилии —
есть один счастливый человек!

Обыкновенный молодой человек
(подбегает к каждому, цепляется).

Милостивые государи!
Стойте!
Милостивые государи!
Господин,
господин,
скажите скорей:
это здесь хотят сжечь
матерей?
Господа!
Мозг людей остер,
но перед тайнами мира ник;
а ведь вы зажигаете костер
из сокровищ знаний и книг!
Я придумал машинку для рубки котлет.

Я умом вовсе не плох!
У меня есть знакомый —
он двадцать пять лет
работает
над капканом для ловли блох.
У меня жена есть,
скоро родит сына или дочку,
а вы — говорите гадости!
Интеллигентные люди!
Право, как будто обидно.

Человек без уха.

Молодой человек,
встань на коробочку!

(Из толпы:)

Лучше на бочку!

Человек без уха.

А то вас совсем не видно.

Обыкновенный молодой человек.

И нечего смеяться!

У меня братец есть,
маленький, —

вы придете и будете жевать его кости.

Вы все хотите съесть!

(Тревога. Гудки. За сценой крики: «Штаны, штаны!»)

В. Маяковский.

Бросьте!

(Обыкновенному молодому человеку со всех сторон:)

Если б вы так, как я, голодали —
дали

востока и запада

вы бы глодали,

как гложут кость небосвода
заводов копченые рожи!

Обыкновенный молодой человек.
Что же, —
значит, ничто любовь?
У меня есть Сонечка сестра!

(На коленях.)

Милые!
Не лейте кровь!
Дорогие,
не надо костра!

(Тревога выросла. Выстрелы. Начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба. Загудело железо крыш.)

Человек с растянутым лицом.

Если б вы так, как я, любили,
вы бы убили любовь
или лобное место нашли
и растлили б
шершавое потное небо
и молочно-невинные звезды.

Человек без уха.

Ваши женщины не умеют любить,
они от поцелуев распухли, как губки.

(Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо площади.)

Человек с растянутым лицом.

А из моей души
тоже можно сшить
такие нарядные юбки!

(Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины.
Взваливают на плечи. Тащат.)

Вместе:

Идем,
где за святость
распяли пророка,
тела отдадим раздетому плясу,
на черном граните греха и порока
поставим памятник красному мясу.

(Дотаскивают до двери. Оттуда торопливые шаги. Человек без глаза и ноги. Радостный. Безумие надорвалось. Женщину бросили.)

Человек без глаза и ноги.

Стойте!
На улицах,
где лица —
как бремя
у всех одни и те ж,
сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж!
Смех!
Перед мордами вылезших годов
онемели земель старожилы,
а злоба
вздувала на лбах городов
реки —
тысячеверстые жилы.
Медленно,
в ужасе,
стрелки волос
подымались на лысом темени времен.
И вдруг
все вещи
кинулись,

раздирая голос,
скидывать лохмотья изношенных имен.
Винные витрины,
как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного
сбежали штаны
и пошли —
одни!
без человеческих ляжек!
Пьяный —
разинув черную пасть —
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок „Robes et modes“.
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-кокотки
игриво щурятся.
Я летел, как ругань.
Другая нога
еще добегают в соседней улице.
Что же,
вы,
кричащие, что я калека?!
Старые,
жирные,
обрюзгшие враги?
Сегодня
в целом мире не найдете человека,
у которого
две
одинаковые
ноги!

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский
переоделся в тогу. Лавровый венок. Задверью многие ноги.

Человек без глаза и ноги

(услужливо).

Поэт!

Поэт!

Вас объявили князем.

Покорные

толпятся за дверью,

пальцы сосут.

Перед каждым положен наземь
какой-то смешной сосуд.

В. Маяковский.

Что́ же, —

пусть идут!

(Робко. Женщины с узлами. Много кланяются.)

Первая.

Вот это слезка моя, —

возьмите!

Мне не нужна она.

Пусть.

Вот она,

белая,

в шелке из нитей

глаз, посылающих грусть!

В. Маяковский

(беспокойно).

Не нужна она, —

зачем мне?

(Следующей.)

И у вас глаза распухли?

Вторая

(беспечно).

Пустяки!

Сын умирает.

Не тяжко.

Вот еще слеза.

Можно на туфлю.

Будет красивая пряжка.

В. Маяковский

(испуган).

Третья.

Вы не смотрите,

что я

грязная.

Вымоюсь —

буду чище.

Вот вам и моя слеза,

праздная,

большая слезища.

В. Маяковский.

Будет!

Их уже гора.

Да и мне пора.

Кто этот очаровательный шатен?

Газетчики.

Фигаро!

Фигаро!

Матэн!

(Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают.
Говорят вперебой.)

Смотрите —
какой дикий!
Отойдите немного.
Темно.
Пустите!
Молодой человек,
не икайте!

Человек без головы.

И-и-и-и...
Э-э-э-э...

Человек с двумя поцелуями.
Тучи отдаются небу
рыхлы и гадки.
День гиб.
Девушки воздуха тоже до золота падки,
а им только деньги.

В. Маяковский.

Что?

Человек с двумя поцелуями
Деньги и деньги б!

Голоса.

Тише!
Тише!

Человек с двумя поцелуями.

(Танец с дырявыми мячами.)

Большому и грязному человеку
подарили два поцелуя.
Человек был неловкий,

не знал,
что с ними делать,
куда их деть?
Город,
весь в празднике,
возносил в соборах аллилуя,
люди выходили красивое надеть.
А у человека было холодно,
и в подошвах дырочек овальцы.
Он выбрал поцелуй,
который побольше,
и надел, как калошу.
Но мороз ходил влой,
укусил его за пальцы,
„Что же, —
рассердился человек, —
я эти ненужные поцелуи брошу!“
Бросил.
И вдруг
у поцелуя выросли ушки,
он стал вертеться,
тоненьким голосочком крикнул:
„Мамочку!“
Испугался человек.
Обернул лохмотьями души своей дрожа-
щее тельце,
понес домой,
чтобы вставить в голубенькую рамочку.
Долго рылся в пыли по чемоданам
(искал рамочку).
Оглянулся —
поцелуй лежит на диване,
громадный,
жирный,
вырос,

смеется,
бесится!
„Господи! —
заплакал человек, —
никогда не думал, что я так устану.
Надо повеситься!“
И пока висел он,
гадкий,
жаленький, —
в будуарах женщины
— фабрики без дыма и труб —
миллионами выделявали поцелуи, —
всякие,
большие,
маленькие, —
мясистыми рычагами шлепающих губ.

Вбежавшие дети-поцелуи
(резво).

Нас массу выпустили.
Возьмите!
Сейчас остальные придут.
Пока — восемь.
Я —
Митя.
Просим!

(Каждый кладет слезу.)

В. Маяковский.

Господа!
Послушайте, —
я не могу!
Вам хорошо,
а мне с болью-то как?

(Угрозы:)

Ты поговори еще там!
Мы из тебя сделаем рагу,
как из кролика!

Старик с одной ошипанной кошкой.
Ты один умеешь песни петь.

(На грудь слез.)

Отнеси твоему красивому богу.

В. Маяковский.

Пустите сесть!

(Не дают. В. Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом.)

Хорошо!

Дайте дорогу!

Думал —

радостный буду.

Блестящий глазами

сяду на трон,

изнеженный телом грек.

Нет!

Век,

дорогие дороги,

не забуду

ваши ноги худые

и седые волосы северных рек!

Вот и сегодня —

выйду сквозь город,

душу

на копьях домов

оставляя за клоком клок.

Рядом луна пойдет, —

туда,

где небосвод распорот.

Поравняется,
на секунду примерит мой котелок.
Я
с ношей моей
иду,
спотыкаюсь,
ползу
дальше
на север,
туда,
где в тисках бесконечной тоски
пальцами волн
вечно
грудь рвет
океан изувер.
Я добреду, —
усталый,
в последнем бреду
брошу вашу слезу
темному богу гроз
у истока звериных вер.

ЗАНАВЕС

ЭПИЛОГ

В. Маяковский.

Я это все писал
о вас,
бедных крысах.
Жалел — у меня нет груди:
я кормил бы вас доброй нененькой.
Теперь я немного ысох,
я — блаженненький.

Но зато
кто
где бы
мыслям дал
такой нечеловечий простор!
Это я
попал пальцем в небо,
доказал:
он — вор!
Иногда мне кажется, —
я петух голландский
или я
король псковский.
А иногда
мне больше всего нравится
моя собственная фамилия —
Владимир Маяковский.

(1913)

ОБЛАКО В ШТАНАХ

ТЕТРАПТИХ

Тебе, Лиля.

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца
лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной, батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный,
— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные как больница,
и женщины, истрепанные как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.
„Приду в четыре“, — сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина

стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя неважно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догнала,
зарезала, —
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождевки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
собора Парижской богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого нехватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:

тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.

И вот
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал
взволнованный,
четкий.

Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы
большие,
маленькие,
многие!
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится, —

из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.
Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как „нате!“
муча перчатки замш,
сказала:
„Знаете —
я выхожу замуж“.

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.
Помните?
Вы говорили:
„Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть“, —
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!
И украли.
Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!
Дразните?
„Меньше, чем у нищего копеек,

У вас изумрудов безумий*.
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздражили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —

„Я“

для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка

из горящего публичного дома.
Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезненные бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки "Лузитании".

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.

Крик последний, —
ты, хоть,
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю „nihil“.

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак, —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолевы от брожения.
И тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипачивают, рифмами пиликаая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни

рушит,
мешая слово.

Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топоршились, застрявшие поперек горла,
пухлые тахі и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки плоче.

Город дорогу мраком запер.
И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
„Идемте жрать!“

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщъ,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
„сволочь“
и еще какое-то,
кажется — „борщ“.

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы.
„Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,

и цветочек под росами?“
А за поэтами —
Уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеее просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженным,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
„Помоги мне!“
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрик и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном
паркете!

Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гёте!

Я,
златоустейший,

чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стена,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра.
Мы,
каторжане города — лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,

и не было ни одного,
который
не кричал бы:
„Распни,
распни его!“
Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куций,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча,
я — где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его

мятежом оглашая,
выйдете к спасителю, —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!
и окровавленную дам, как знамя.

3

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел,
и с нежностью, неожиданной в жирном
человеке,
взял и сказал:
„Хорошо“!

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
„Пейте какао Ван-Гутена!“

И эту секунду
бенгальскую,
громкую
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеете называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
„изящно пляшу ли“,
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,

солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди,
на цепочке, Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещицы
засюсюкают:
„цаца, цаца, цаца!“

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путях,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько

треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гуляющие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!

Понеделники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!

Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника, —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников!

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как Марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.
Видите —
небо опять иудит
пригоршню обрызганных предательством
звезд.

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насеv.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть,
и вижу:
в углу глаза круглы,
глазами в сердце въелась богоматерь.
Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Варавву?
Может быть, нарочно я
в человеческом месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должныe подрасти,
мальчики — отцы,

девочки — забеременели.
И новым рожденным дай обрести
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
„удивительно честный“.

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных
зобах,

высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —

черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником
труп.

а на седых ресницах —
да!

на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз —
да!

из опущенных глаз водосточных труб.
Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом
атлет:

лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!

Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое
слово?

Птица
побирается песней,
поет,

голодна и звонка,
А я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную
руку Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло
звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьею
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных
любят.

Не бойся,
что снова
в измены ненастье
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —

„любящие Маяковского!“
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.
Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твое просто прошу,
как просят христиане
„хлеб наш насущный
даждь нам днесь“.

Мария — дай!

Мария!
Имя твое я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.
Тело твое
я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.
Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу,
грязный (от ночовок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?

Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь седую бровь?
Ты думаешь,
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел; я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской муки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!

Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божище.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.

Крыластые прохвосты,
жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски.

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

(1915)

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

ПРОЛОГ

За всех вас,
которые нравились или нравятся,
хранимых иконами у души в пещере,
как чашу вина в застольной здравнице
подъсмлю стихами наполненный череп.

Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
Сегодня я
на всякий случай
даю прощальный концерт.

Память!
Собери у мозга в зале
любимых неисчерпаемые очереди.
Смех из глаз в глаза лей.
Былыми свадьбами ночь ряди.
Из тела в тело веселье лейте.
Пусть не забудется ночь ни ем.
Я сегодня буду играть на флейте,
На собственном позвоночнике.

Версты улиц взмахами шагов мну.
 Куда уйду я, этот ад тая!
 Какому небесному Гофману
 выдумалась ты, проклятая?!
 Буре веселья улицы узки.
 Праздник нарядных черпал и черпал.
 Думаю.
 Мысли, крови сгустки,
 больные и запекшиеся, лезут из черепа.

Мне,
 чудотворцу всего, что празднично,
 самому на праздник выйти не с кем.
 Возьму сейчас и грохнусь навзничь
 и голову вымошжу каменным Невским!
 Вот я богохулил.
 Орал, что бога нет,
 а бог такую из пекловых глубин,
 что перед ней гора заволнуется и дрогнет,
 вывел и велел:
 люби!

Бог доволен.
 Под небом в круче
 измученный человек одичал и вымер.
 Бог потирает ладони ручек.
 Думает бог:
 погоди, Владимир!
 Это ему, ему же,
 чтоб не догадался, кто ты,
 выдумалось дать тебе настоящего мужа
 и на рояль положить человечьи ноты.
 Если вдруг подкрасться к дзери спаленной,
 перекрестить над вами стеганье одеялово,

знаю —
запахнет шерстью паленной,
и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего
в ужасе, что тебя любить увели,
метался
и крики в строчки выгранивал,
уже наполовину сумасшедший ювелир.
В карты б играть!
В вино
выполоскать горло сердцу изоханному.

Не надо тебя!
Не хочу!
Все равно
я знаю,
я скоро сдохну.

Если правда, что есть ты,
боже,
боже мой,
если звезд козер тобою выткан,
если этой боли,
ежедневно множимой,
тобой ниспослана, господи; пытка,
судейскую цепь надень.
Жди моего визита.
Я аккуратный,
не замедлю ни на день.
Слушай,
всевышний инквизитор!

Рот зажму.
Крик ни один им

не выпущу из искусанных губ я.
Привяжи меня к кометам, как к хвостам
лошадиным,
и вымчи,
рвя о звездные зубья.
Или вот что:
когда душа моя выселится,
выйдет на суд твой,
выхмурясь тупенько,
ты,
млечный путь перекнув виселицей,
возьми, и вздерни меня, преступника.
Делай, что хочешь.
Хочешь — четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только —
слышишь! —
убери проклятую — ту,
которую сделал моей любимой!

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая!
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?!

2

И небо,
в дымах, забывшее, что голубо,
и тучи, ободренные беженцы точно,
вызарю в мою последнюю любовь,
яркую, как румянец у чахоточного.
Радостью покрою рев

скопа,
забывших о доме и уюте.
Люди,
слушайте!
Вылезьте из окопов.
После довоюете.

Даже если
от крови качающийся, как Бахус,
пьяный бой идет, —
слова любви и тогда не ветхи.
Милые немцы!
Я знаю,
на губах у вас
гётевская Гретхен.

Француз,
улыбаясь, на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный авиатор,
если вспомнит
в поцелуе рот
твой, Травиата.

Но мне не до розовой мякоти,
которую столетия выжуют.
Сегодня к новым ногам лягте!
Тебя пою,
накрашенную,
рыжую.
Может быть, от дней этих,
жутких, как штыков острия,
когда столетия выбелят бороду,
останемся только
ты

и я,
бросающийся за тобой от города к городу.

Будешь за море отдана,
спрячешься у ночи в норе, —
я в тебя вцелую сквозь туманы Лондона
огненные губы фонарей.

В зное пустыни вытянешь караваны,
где львы на-чеку, —
тебе
под пылью, ветром рваной,
положу Сахарой горящую щеку.

Улыбку в губы вложишь,
смотришь —
торреадор хорош как!
И вдруг я
ревность метну в ложи
мрущим глазом быка.

Вынесешь на мост шаг рассеянный —
думать
хорошо внизу бы.
Это я
под мостом разлился Сеной,
зову,
скалю гнилые зубы.

С другим зажгешь в огне рысаков
Стрелку или Сокольники.
Это я, взобравшись туда высоко,
луной томлю, ждущий и голенький.

Сильный,
понадоблюсь им я, —
велят:
себя на войне убей!
Последним будет
твое имя,
запекшееся на выдранной ядром губе.

Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
я — равный кандидат
и на царя вселенной
и на
кандалы.

Быть царем назначено мне —
твое личико
на солнечном золоте моих монет
велю народу:
вычекань!

А там,
где тундрой мир вылинял,
где с северным ветром ведет река торги, —
на цепь нацарапаю имя Лилено
и цепь исцелую во мраке каторги.

Слушайте ж, забывшие, что небо голубо,
выщетинившиеся,
звери точно.
Это, может быть,
последняя в мире любовь
вызарила румянцем чахоточного.

Забуду год, день, число.
 Запрусь одинокий с листом бумаги я.
 Творишь, просветленных страданием слов
 нечеловечья магия!

Сегодня только вошел к вам,
 почувствовал —
 в доме неладно.
 Ты что-то таила в шелковом платье,
 и ширился в воздухе запах ладана.
 Рада?
 Холодное
 „очень“.
 Смятеньем разбита разума ограда.
 Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
 все равно
 не спрячешь трупа.
 Страшное слово на голову лавь.
 Все равно
 твой каждый мускул,
 как в рупор,
 трубит:
 умерла, умерла, умерла!
 Нет,
 ответь.
 Не лги!
 (Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил
 вырылись на лице твоём глаза.

Могилы глубятся.
 Нету дна там.

Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.

Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала
теперь!

Такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему:
„Хорошо,
уйду,
хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашей ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!“

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,

будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке,
перед той, которую отдал,
коленипреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, — цветы и травы!
Весеньтесь, жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы —
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творишь,
распятью равная магия.
Видите —
гвоздями слов
прибит к бумаге я.

(1915)

ВОЙНА И МИР

ПРОЛОГ

Хорошо вам.
Мертвые сраму не имут.
Злобу
к умершим убийцам туши.
Очистительнейшей влагой вымыт
грех отлетевшей души.

Хорошо вам!
А мне
сквозь строй,
сквозь грохот
как пронести любовь к живому?
Оступлюсь —
и последней любвишки кроха
навек канет в дымный омут.

Что им,
вернувшимся,
печали ваши,
что им
каких-то стихов бахрома?!
Им

на паре б деревяшек
день кое-как прохромать!

Боишься?!

Трус!

Убьют?!

А так

полсотни лет еще можешь, раб, расти.

Ложь!

Я знаю,

и в лаве атак

я буду первый

в геройстве,

в храбрости.

О, кто же,

набатов будущих годин

званный,

не выйдет брав?

Все!

А я

на земле

один

глашатай грядущих правд.

Сегодня ликую!

Не разбрызгав

душу,

сумел,

сумел донести.

Единственный человеческий,

среди воя,

среди визга,

голос

подъемлю днесь.

А там
расстреливайте,
вяжите к столбу!
Я ль изменюсь в лице!
Хотите —
туза
нацеплю на лбу,
чтоб ярче горела цель?!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Лиле.

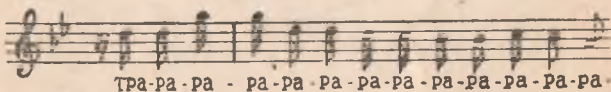
8 октября.
1915 год.
Даты
времени,
смотревшего в обряд
посвящения меня в солдаты.

„Слышите!
Каждый,
ненужный даже, —
должен жить;
нельзя,
нельзя ж его
в могилы траншей и блиндажей
вкопать заживо —
убийцы!“

Не слушают.
Шестипудовый унтер сжал, как пресс.
От уха до уха выбрали аккуратненько.
Мишенью
на лоб

Теперь и мне на запад!
Буду итти и итти там,
пока не оплачут твои глаза
под рубрикой
„убитые“
набранного петитом.

accelerando



И вот
на эстраду,
колеблемую костром оркестра,
вывалился живот.
И начал!
Рос в глазах, как в тысячах луп.
Змеился.
Пот сиял лачком.
Вдруг —
остановил мелькающий пуп,
вывертелся волчком.
Что было!
Лысины слиплись в одну луну.

Смаслились глазки, щелясь,
Даже пляж,
расхлестав соленую слюну,
осклабил утыканную домами челюсть.

Вывертелся.

Рты,
как электрический ток,
скрючило „браво“.

Браво!

Бра-аво!

Бра-а-аво!

Бра-а-а-аво!

Б-р-а-а-а-а-в-о!

Кто это,

кто?

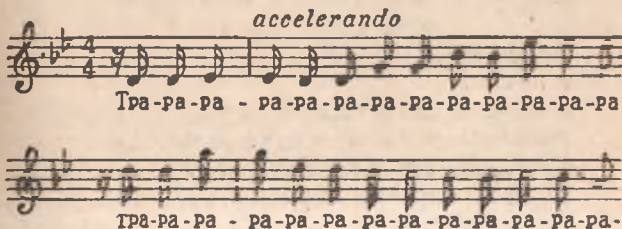
Эта массомьясая
быкомордая орава?

Стихам не втиснешь в тихие томики
крик гнева.

Это внуки Колумбов,

Галилеев потомки

ржут, запутанные в серпантинный невод!



А там,
всхлобучась на вечер чинный,
женщины
раскачивались шляпой стопёрой.
И в клавиши тротуаров бухали мужчины,
уличных блудилищ остервенелые таперы
Вправо,
влево,
вкривь,
вкось,
выфрантив полей лоно,
вихрились нанизанные на земную ось
карусели
Вавилонищ,
Вавилончиков,
Вавилонов.

Над ними
бутыли,
восхищающие длиной.
Под ними
бокалы
пьяной ямой.
Люди
или валялись,
как упившийся Ной,
или грохотали мордой многохамой!

Нажрутся,
а после,
в ночной слепоте,
вывалясь мясами в пухе и вате, —
сползутся друг на друге потеть,
города содрогая скрипом кроватей.
Гниет земля,

ламп огни ей
взрывают кору горой влдырей;
дрожа городов агонией,
люди мрут
у камня в дыре.
Врачи
одного
вынули из гроба,
чтобы понять людей небывалую убыль:
в прогрызанной душе
золотолапым микробом
вился рубль.

Во все концы,
чтоб скорее вылить
смерть,
взбурлив людей крышам вровень,
сердец столиц тысячесильные Дизели
вогнали вагоны зараженной крови.

Тихие,
Недолго пожили.
Сразу
железо рельс всочило по жиле
в загар деревень городов заразу.
Где пели птицы — тарелок лязги.
Где бор был — площадь стодомым содомом.
Шестиэтажными фавнами ринулись в пляски
публичный дом за публичным домом.

Солнце подымет рыжую голову,
запекшееся похмелье на вспухшем рте;
и нет сил удержаться голому —
взять
не вернуться ночам в вертеп.

И еще не успеет
ночь, арапка,
лечь, продажная,
в отдых,
в тень, —
на нее
раскаленную тушу вскарабкал
новый голодный день.

В крыши зажатые!
Горсточка звезд,
ори!
Шарахайся испуганно, вечер-инок!
Идем!
Раздуем на самок
ноздри,
выеденные зубами кокаина!

ЧАСТЬ II

Это случилось в одну из осеней,
были
горюче-сухи
все,
металось солнце,
сумасшедший маляр,
оранжевым колером пыльных выпачкав.

Откуда-то
на землю
нахлынули слухи.
Тихие.
Заходили на цыпочках.

Их шопот тревогу в груди выселил,
а страх,
под черепом,
рукой красной
распутывал, распутывал и распутывал мысли,
и стало невыносимо ясно:
если не собрать людей пучками рот,
не взять и не взрезать людям вены, —
зараженная земля
сама умрет —
сдохнут Парижи,
Берлины,
Вены!

Чего размякли?!
Хныкать поздно!
Раньше б раскаянье осеняло!
Тысячеруким врачам
ланцетами роздано
оружие из арсеналов.

Италия!
Королю,
брадобрею ли,
ясно —
некуда деться ей!
Уже сегодня
реяли
немцы над Венецией!

Германия!
Мысли,
музеи,
книги,
каньте в разверстые жерла.

Зевы зарев, оскальтесь нагло!
Бурши,
скачите верхом на Канте!
Нож в зубы!
Шашки наголо!

Россия!
Разбойной ли Азии зной остыл?!
В крови желанья бурлят ордой.
Выволакивайте забившихся под Евангелие
Толстых!

За ногу худую!
По камню бородой!

Франция!
Гони с бульваров любовный шопот!
В новые танцы — юношей выловить!
Слышишь, нежная?
Хорошо
под музыку митральезы жечь и насиловать!

Англия!
Турция!..
Т-р-а-а-ах!
Что это?
Песлышалось!
Не бойтесь!
Ерунда!
Земля!
Смотрите,
что по волосам ее?
Морщины окопов легли на чело!
Т-с-с-с-с-с-с... —
грохот.
Барабаны, музыка?

Неужели?
Она это,
она самая?
Да!

Н а ч а л о с ь .

ЧАСТЬ III

Нерон!
Здравствуй!
Хочешь?
Зрелище величайшего театра.
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.

Куда легендам о боях Цезарей
перед былью,
которая теперь была!
Как на детском лице зря,
нежна ей
самая чудовищная гипербола.

Белкой скружишься у смеха в колесе,
когда узнает твой прах о том:
сегодня
мир
весь — Колизей,
и волны всех морей
по нем изостлались бархатом.
Трибуны — скалы,
И на скале там,

будто бой ей зубы выломил,
поднебесья соборов
скелет за скелетом
выжглись
и обнеслись перилами.

Сегодня
заревом в земную плешь она,
кровавая толп ропот,
в небо
люстрой подвешена
целая зажженная Европа.

Пришли,
расселись в земных долинах
гости
в страшном наряде.
Мрачно поигрывают на шеях длинных
ожерелья ядер.

Золото славян.
Черные мадьяр усы.
Негров непроглядные пятна.
Всех земных широт ярусы
вытолпила с головы до пят она.
И там,
где Альпы,
в закате грея,
выласкали в небе лед щеки, —
облаков галлереей
наохлились зоркие летчики.

И когда
на арену
воины

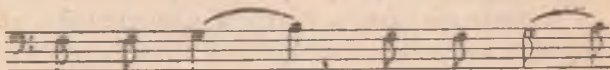
вышли
парадными парами,
в версты шарахнув театром удвоенный
грохот и гром миллиардных армий, —
шар земной
полюсы стиснул
и в ожидании замер.
Седоволосые океаны
вышли из берегов,
впились в арену мутными глазами.
Пылающими сходнями
спустилось солнце —
суровый
вечный арбитр.
Выгорая от любопытства,
звезд глаза повылезли из орбит.

А секунда медлит и медлит.
Лень ей.

К началу кровавых игр,
напряженный как совокупление,
не дыша остановился миг.

Вдруг —
секунда вдребезги.
Рухнула арена дыму в дыру.
В небе — ни зги.
Секунды быстрились и быстрились —
взрывали,
ревели,
рвали.
Пеной выстрел на выстреле
огнел в кровавом вале.

Вперед!

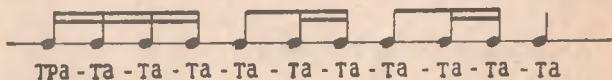
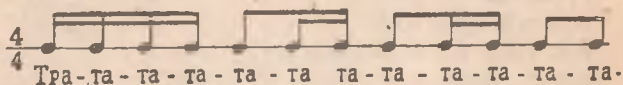


Спа - си Гос - - - по - ди лю -

Вздрыгнула от крика грудь дивизий,
Вперед!

Пена у рта.

Разящий Георгий у знамен в девизе:
барабаны



Бутафор!

Катафалк готовь!

Вдов в толпу!

Мало вдов еще в ней.

И взвился

в небо

фейерверк фактов,

один другого чудовищней.

Выпучив глаза,

маяк

из-за гор

через океаны плакал;

а в океанах

эскадры корчились,

насаженные мине на кол.

Дантова ада кошмаром намаранней,
громоголосие меди грохотом изоржав,
дрожа за Париж,
последним
на Марне
ядром отбивается Жоффр.

С юга
Константинополь,
оскалив мечети,
выблевывал
вырезанных
в Босфор.
Волны!
мечите их,
впившихся зубами в огрызки просфор.

Лес.
Ни голоса.
Даже нарочен
в своей тишине.
Смешались их и наши.
И только
проходят
вороны да ночи,
в чернь облачась, чредой монашьей.

И снова,
грудь обнажая зарядам,
плывя по веснам,
пробиваясь в зиме,
армия за армией,
ряд за рядом
заливают мили земель.

Загорается.

Новых из дубров волок.

Огня пентаграмма в пороге луга.

Молниями колючих проволок
сожраны сожженные в уголь.

Батарей добела раскалили жару.

Прыгают по трупам городов и сел.

Медными мордами жрут
всё.

Огневержец!

Где не найдешь, карая?!

Впутаясь ракете,

в небо вбегу;

с неба

красная,

рдея у края,

кровь Пегу.

И тверди,

и воды,

и воздух взрыт.

Куда направлю опромети шаг?

Уже обезумевшая,

уже навзрыд,

вырываясь, молит душа:

„Война!

Довольно!

Уйми ты их!

Уже на земле голо́е.

Метнулись гонимые разбегом убитые,
и еще

минуту
бегут без голов.

А над всем этим
дьявол
заревом зевот дымит.
Это в созвездии железнодорожных линий
стоит,
озаренное пороховыми заводами,
небо в Берлине.

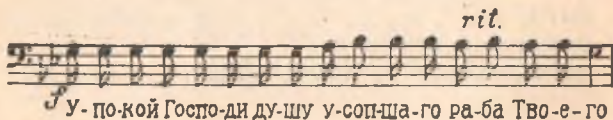
Никому не ведомо,
дни ли,
годы ли,
с тех пор как на поле
первую кровь войне отдали,
в чашу земли сцедив по капле.

Одинаково —
камень,
болото,
халупа ли,
человечьей кровью вымочили весь его.
Везде
шаги
одинаково хлюпали,
меся дымящееся мира месиво.

В Ростове
рабочий
в праздничный отдых
захотел
воды для самовара выжать, —
и отшатнулся:

во всех водопроводах
сочилась та же рыжая жижа.
В телеграфах надрывались машины Морзе.
Орали городам об юных они.
Где-то
на Ваганькове
могильщик заерзал.
Двинулись факельщики в хмуром Мюнхене.

В широко развороченную рану полка
раскаленную лапу всунули прожекторы.
Подняли одного,
бросили в окоп —
того,
на ноже который!
Библеец лицом,
изо рва
ряса.
„Вспомните!
За ны!
При Понтийстем Пилате!“
А ветер ядер
в клочки изорвал
мясо и платье.



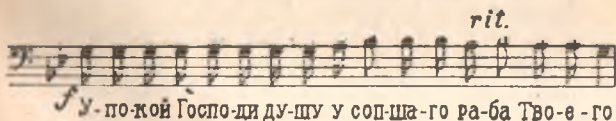
Выдернулась из дыма сотня голов.
Не сметь заплаканных глаз им!
Заволокло
газом



Белые крылья выросли у души,
стон солдат в пальбе доносится.
„Ты на небо летишь, —
удуши,
удуши его,
победоносца“.

Бьется грудь неровно...
Шутка ли!
К богу на-дом!
У рая, в облака бронированного,
дверь расшибаю прикладом.

Трясутся ангелы.
Даже жаль их.
Белее перышек личика овал.
Где они, —
боги?!
„Бежали,
все бежали,
и Саваоф,
и Будда,
и Аллах,
и Иегова“.



Ухало.

Ахало.

Охало.

Но уже не та канонада, —

повздыхала еще

и заглохла.

Вылезли с белым.

Взмолились

— не надо! —

Никто не просил,

чтоб была победа

родине начертана.

Безрукому огрызку кровавого обеда
на чорта она?!

Последний на штык насажен.

Наши отходят на Ковно,

на сажень

человечьего мяса нашинковано.

И когда затихли

все, кто напáдали,

лег

батальон на батальоне,

выбежала смерть

и затанцовала на падали,

балета скелетов безносая Тальонн.

Танцует.

Ветер из-под носка.

Шевельнул папаху,

обласкал на мертвом два волоска,

и дальше, —

попахивая.

Пятый день
в простреленной голове
поезда выкручивают за изгибом изгиб.
В гниющем вагоне
на сорок человек —
четыре ноги.

ЧАСТЬ IV

Эй!

Вы!

Притушите восторженные глазенки!

Лодочки ручек суньте в карман!

Это

достойная награда

за выжатое из бумаги и чернил.

А мне за что хлопать?

Я ничего не сочинил.

Думаете:

врет!

Нигде не прострелен.

В целехоньких висках биенья не уладить

если рукоплещут

его барабанов трели,

его проклятий рифмованной руладе.

Милостивые государи!

Понимаете вы?

Боль берешь,

растишь и растишь ее:

всеми пиками истыканная грудь,

всеми газами свороченное лицо,

всеми артиллериями громимая цитадель го-
ловы, —

каждое мое четверостишие.

Не затем
взвела
по насыпям тел она,
чтоб, горестный,
сочил заплаканную гнусь;
страшной тяжестью всего, что сделано,
без всяких
„красиво“
прижатый гнусь.

Убиты —
и все равно мне,
я или он их
убил.
На братском кладбище,
у сердца в яме,
легли миллионы, —
гниют,
шевелиятся, приподымаемые червями!

Нет!
Не стихами!
Лучше
язык узлом завяжу,
чем разговаривать.
Этого
стихами сказать нельзя.
Выхоленным ли языком поэта
горящие жаровни лизать!

Эта!
В руках!
Смотрите!
Это не лира вам!
Раскаяньем вспоротый,

сердце вырвал, —
рву аорты!

В кашу рукоплесканий ладош не вмёсите!
Нет!

Не вмёсите!

Рушьяся, комнат уют!

Смотрите,

под ногами камень.

На лобном месте стою.

Последними глотками
воздух...

Вытеку срубленный,

но кровью выем

имя „убийца“,

выклейменное на человеке.

Слушайте!

Из меня,

слепым Виём,

время орет:

„Подымите,

подымите мне

веков веки!“

Вселенная расцветет еще

радостна,

нова.

Чтоб не было бессмысленной лжи за ней,
каюсь:

я

один виноват

в растущем хрусте ломаемых жизнью!

Слышите —

солнце первые лучи выдало,

еще не зная,

куда,
отработав, денется, —
это я,
Маяковский,
подножию идола
нес
обезглавленного младенца.

Простите!

В христиан зубов резцы
вонзая,
львы вздымали рык.
Вы думаете — Нерон?
Это я,
Маяковский
Владимир,
пьяным глазом обволакивал цирк.

Простите меня!

Воскрес Христос.
Свили
одной любовью
с устами уста вы;
Маяковский
еретикам
в подземельи Севильи
дыбой выворачивал суставы.

Простите,
простите меня!

Дни!
Вылазьте из годов лачуг!
Какой раскрыть за собой
еще?

Дымным хвостом по векам волочу
оперенное

пожарами побоище!

Пришел.

Сегодня

Не немец,

не русский,

не турок, —

это я

сам,

с живого сдирая шкуру,

жру мира мясо.

Тушами на штыках материки.

Города — груды глиняные.

Кровь!

выцеди из твоей реки

хоть каплю,

в которой невинен я!

Нет такой!

Этот

выколотыми глазами —

пленник,

мною меченный.

Я,

в поклонах разбивший колени,

голодом выглодал земли неметчины.

Мечу пожаров рыжие пряди.

Волчьи щетинюсь из темени ям.

Люди!

Дорогие!

Христа ради,

ради Христа

простите меня!

Нет,

не подыму искаженного тоской лица!

Всех окаянное,

пока не расколется,

буду лоб разбивать в покаянии!

Встаньте,

ложью вверженные ниц,

оборванные войнами

калеки лет!

Радуйтесь!

Сам казнится

единственный людоед.

Нет,

не осужденного выдуманная хитрость!

Пусть с плахи не соберу разодранные части я,—

все равно,

всего себя вытряс,

один достоин

новых дней приять причастие.

Вытеку срубленный,

и никто не будет—

некому будет человека мучить.

Люди родятся,

настоящие люди,

бога самого милосердней и лучше.

ЧАСТЬ V

А может быть,

больше

у времени-хамелеона

и красок никаких не осталось?
Дернется еще
и ляжет,
бездыхан и угловат.

Может быть,
дымами и боями охмеленная,
никогда не подыметя земли голова?

Может быть...

Нет,
не может быть!
Когда-нибудь да выстеклится мыслей омут,
когда-нибудь да увидит, как хлещет из телалà.
Над вздыбленными волосами руки заломит,
выстонет:

„Господи,
что я сделала!“

Нет,
не может быть!

Грудь,
срази отчаянья лавину.
В грядущем счастья выращи ощупь.

Вот,
хотите,
из правого глаза

выну
целую цветущую рощу?!
Птиц причудливых мысли ройте.

Голова,
закинься восторженна и горда.

Мозг мой,
веселый и умный строитель,
строй города!

Ко всем,
кто зубы еще
злостью выцемил,
иду
в сияющих глаз заре.
Земля,
встань
тыщами
в ризы зарев разодетых Лазарей!

И радость,
радость,
сквозь дымы
светлые лица я
вижу.
Вот,
приоткрыв помертвевшее око,
первая
приподымается Галиция.
В травы вкуталась ободренным боком.

Кинув ноши пушек,
выпрямились горбатые,
кровавленными сединами в небо канув,
Альпы,
Балканы,
Кавказ,
Карпаты.

А над ними,
выше еще,
двое великанов.
Встал золототелый,
молит:

„Ближе!

к тебе с изрытого взрывами дна я“.

Это Рейн

размокшими губами лижет

иссеченную миноносцами голову Дуная.

До колоний, бежавших за стены Китая,

до песков, в которых потеряна Персия,

каждый город,

ревевший,

смерть кидая,

теперь сиял.

Шопот.

Вся земля

черные губы разжала.

Громче.

Урагана ревом

вскипает.

„Клянитесь,

больше никого не скосите!“

Это встают из могильных курганов,

мясом обрастают хороненные кости.

Было ль,

чтоб срезанные ноги

искали б

хозяев,

оборванные головы звали по имени?

Вот

на череп обрубку

вспрыгнул скальп,

ноги подбежали,

живые под ним они.

С днищ океанов и морей,
на реях,
оживших утопших выплыли залежи.
Солнце!
в ладонях твоих изогрей их,
лучей языками глаза лижи!
В старушье лицо твое
смеемся,
время!
Здоровые и целые вернемся в семьи!
Тогда
над русскими,
над болгарами,
над немцами,
над евреями,
над всеми:
по тверди небес,
от зарев алой,
ряд к ряду,
семь тысяч цветов засияло
из тысячи разных радуг.

По обрывкам народов,
по банде рассеянной
эхом раскатилось
растерянное
„А-ах!..“
День раскрылся такой,
что сказки Андерсена
щенками ползали у него в ногах.

Теперь не верится,
что мог итти
в сумерках улочек темный, шаря.

Сегодня
у капельной девочки
на ногте мизинца
солнца больше,
чем раньше на всем земном шаре.

Большими глазами землю обводит
человек.
Растет,
главою гор достиг.
Мальчик
в новом костюме
— в свободе своей —
важен,
даже смешон от гордости.

Как священники,
чтоб помнили об искупительной драме,
выходят с причастием, —
каждая страна
пришла к человеку со своими дарами:

„На“.

„Безмерной Америки силу несущ тебе,
мощь машин!“

„Неаполя теплые ночи дарю,
Италия,
палимый,
пальм веерами маши“.

„В холоде севера мерзнувший,
Африки солнце тебе!“

„Африки солнцем сожженный,
тебе,
со своими снегами,
с гор спустился Тибет!“

„Франция,
первая женщина мира,
губ принесла алость“.

„Юношей — Греция,
лучшие телом нагим они“.

„Чьих голосов мощь
в песне звончее сплеталась?!
Россия
сердце свое
раскрыла в пламенном гимне!“

„Люди,
веками граненную
Германия
мысль принесла“.

„Вся
до недр напоенная золотом
Индия
дары принесла вам!“

„Славься, человек,
во веки веков живи и славься!
Всякому
живущему на земле
слава,
слава,
слава!“

Захлебнешься!

А тут и я еще.

Прохожу осторожно,
огромен,
неуклюж.

О, как великолепен я
в самой сияющей
из моих бесчисленных душ!

Мимо поздравляющих,
праздничных мимо я
— проклятое,
да не колотись ты! —
вот она
навстречу.

„Здравствуй, любимая!“

Каждый волос выласкиваю,
вьющийся,
золотистый.
О, какие ветры,
какого юга,
свершили чудо сердцем погребенным?
Расцветают глаза твои,
два луга!
Я кувыркаюсь в них,
веселый ребенок.

А кругом:
смеяться.
Флаги.
Стоцветное.
Мимо.
Вздыбились.

Тысячи.
Насквозь.
Бегом.
В каждом юноше порох Маринетти.
В каждом старце мудрость Гюго.

Губ не хватит улыбке столицей.
Все
из квартир
на площади
вон!
Серебряными мячами
от столицы к столице
раскинем веселие,
смех,
звон!

Не поймешь —
это воздух,
цветок ли,
птица ль!
И поет,
и благоухает,
и пестрое сразу, —
но от этого
костром разгораются лица,
и сладчайшим вином пьянеет разум.
И не только люди
радость личью
расцветили,
звери франтовато завили руно,
вчера бушевавшие
моря,
мурлыча,
легли у ног.

Не поверишь,
что плыли,
смерть изрыгав, они.
В трюмах,
навек забывших о порохе,
броненосцы
провозят в тихие гавани
всякого вздора яркие ворохи.

Кому же страшны пушек шайки —
эти,
кроткие,
рвут?
Они
перед домом,
на лужайке,
мирно щиплют траву.

Смотрите,
не шутка,
не смех сатиры —
среди бела дня,
тихо,
по-парно,
цари-задиры
гуляют под присмотром нянь.

Земля,
откуда любовь такая нам?
Представь —
там
под деревом
видели
с Каином
играющего в шашки Христа.

Не видишь,
прищурилась, ищешь?
Глазенки — щелки две.
Шире!
Смотри,
мои глазища —
всем открытая собора дверь.

Люди
любимые,
нелюбимые,
знакомые,
незнакомые,
широким шествием излейте в двери те.
И он
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

(1916)

ЧЕЛОВЕК

ВЕЩЬ

Священнослужителя мира, отпустителя всех
грехов, — солнца ладонь на голове моей.
Благочестивейшей из монашествующих —
ночи облачение на плечах моих.
Дней любви моей тысячелистое евангелие
целую.
Звнящей болью любовь замоля,
душой
иное шествие чающий,
слышу
твое, земля:
„Ныне отпускаеши!“

В ковчеге ночи
новый Ной,
я жду —
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Идет!
Пришла.
Раскуталась.
Лучи везде!
Скребут они.

Запели петли утло,
и тихо входят будни
с их шелухою сутолок.
Солнце снова.
Зовет огневых воевод.
Барабанит заря,
и туда
за земную грязь вы!
Солнце!
что ж,
своего
глашатая
так и забудешь разве?

РОЖДЕСТВО МАЯКОВСКОГО

Пусть, науськанные современниками, пишут
глупые историки: „Скушной и неинтересной
жизнью жил замечательный поэт“.

Знаю,
не призовут мое имя
грешники,
задыхающиеся в аду.
Под аплодисменты попов
мой занавес не опустится на Голгофе.
Так вот и буду
в Летнем саду
пить мой утренний кофе.

В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.

Был абсолютно как все
— до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам.
И никто
не догадался намекнуть
недалекой
неделикатной звезде:
„Звезда — мол —
лень сиять напрасно вам!
Если не
человечьего рождения день,
то чорта ль,
звезда,
тогда еще
праздновать?!“

Судите:
говорящую рыбешку
выудим нитями невода
и поем,
поем золотую,
воспеваем рыбачью удаль.
Как же
себя мне не петь,
если весь я —
сплошная невидаль,
если каждое движение мое —
огромное,
необъяснимое чудо.

Две стороны обойдите.
В каждой
дивитесь пятилучию.
Называется „Руки“.

Пара прекрасных рук!
Заметьте:
справо налево двигать могу
и слева направо.
Заметьте:
лучшую
шею выбрать могу
и обовьюсь вокруг.
Черепу шкатулку вскройте —
сверкнет
драгоценнейший ум.
Есть ли
чего б не мог я?!
Хотите,
новое выдумать могу
животное?
Будет ходить
двухвостое
или треногое.
Кто целовал меня —
скажет,
есть ли
слаще слюны моей сока.
Покоится в нем у меня
прекрасный
красный язык.
„Ого-го-го“ могу —
зальется высоко, высоко,
„О-ГО-ГО“ могу —
и охоты поэта сокол —
голос
мягко сойдет на низы.
Всего не сочтешь!
Наконец,
чтоб в лето

зимы,
воду в вино превращать чтоб мог —
у меня
под шерстью жилета
бьется
необычайнейший -комок.
Ударит вправо — направо свадьбы.
Налево грохнет — дрожат миражи.
Кого еще мне
любить устлать бы?
Кто ляжет
пьяный,
ночами ряжен?

Прачечная.
Прачки.
Много и мокро.
Радоваться что ли, на мыльные пузыри?
Смотрите,
исчезает стоногий окорок!
Кто это?
Дочери неба и зари?

Булочная.
Булочник.
Булки выпек.
Что булочник?
Мукой измусоленный ноль.
И вдруг
у булок
загибаются грифы скрипок.
Он играет.
Все в него влюблено.

Сапожная.
Сапожник.

Прохвост и нищий.
Надо
на сапоги
какие-то головки.
Взглянул —
и в арфы распускаются голенища.
Он в короне.
Он принц.
Веселый и ловкий.

Это я
сердце флагом поднял.
Небывалое чудо двадцатого века!
И отхлынули паломники от гроба господня.
Опустела правоверными древняя Мекка.

ЖИЗНЬ МАЯКОВСКОГО

Ревом встревожено логово банкиров, вельмож
и дождей.

Вышли
латы,
золото тенькая.
„Если сердце все,
то на что,
на что же
вас нагреб, дорогие деньги, я?
Как смеют петь,
кто право дал?
Кто дням велел июлиться?
Заприте небо в провода!
Ск утите землю в улицы!
Хвалился:
„Руки?!“
На ружье ж!

Ласкался днями летними?

Так будешь —

весь! —

колюч, как еж.

Язык оплуйте сплетнями!“

Загнанный в земной загон,

влеку дневное иго я.

А на мозгах

верхом

„Закон“,

на сердце цепь —

„Религия“.

Полжизни прошло, теперь не вырвешься
Тысячеглаз надсмотрщик, фонари, фонари,
фонари...

Я в плену.

Нет мне выкупа!

Оковала земля окаянная.

Я бы всех в любви моей выкупал,

да в дома обнесен океан ее!

Кричу...

и чу!

ключи звучат!

Тюремщика гримаса.

Бросает

с острия луча

клочок гнилого мяса.

Под хохотливое

„Ага!“

бреду по бреду жара.

Гречит,

приковано к ногам,

ядро земного шара.

Замкнуло золото ключом
глаза.
Кому слепого весть?
Навек
теперь я
заключен
в бессмысленную повесть!

Долой высоких вымыслов бремя!
Бунт
муз обреченного данника.
Верящие в павлинов
— выдумка Брэма! —
верящие в розы
— измышление досужих ботаников —
мое безупречное описание земли
передайте из рода в род.
Рвась из меридианов,
атласа арок,
пенится,
звенит золотоворот
франков,
долларов,
рублей,
крон,
иен,
марок.
Тонут гении, курицы, лошади, скрипки.
Тонут слоны.
Мелочи тонут.
В горлах,
в ноздрах,
в ушах звон его липкий:
„Спасите“!
Места нет недоступного стону.

А посредине,
обведенный невозмутимой каймой,
целый остров расцветочного ковра.
Здесь
живет
Повелитель Всего —
соперник мой,
мой неодолимый враг.
Нежнейшие горошинки на тонких чулках его.
Штанов франтовских восхитительны полосы.
Галстук,
выпестренный ахово,
с шеищи
по глобусу пуза расползся.
Гибнут кругом.
Но как в небо бурав,
в честь
твоего — сиятельный — сана:
Бр-р-а-во!
Эввива!
Банзай!
Ура!
Гох!
Гип-гип!
Вив!
Осанна!

Пророков могущество в громах винят.
Глупые!
Он это
читает Локка!
Нравится.
От смеха
на брюхе
звонят,

молнятся целые цепи брелоков.

Онемелые

стоим

перед делом эллина.

Думаем:

„Кто бы,

где бы,

когда бы?“

А это

им

покойному Фидию велено:

„Хочу,

чтоб из мрамора

пышные бабы“.

Четыре часа

прекрасный повод:

„Рабы,

хочу отобедать заново!“

И бог

—его проворный повар —

из глин

сочиняет мясо фазаново.

Вытянется,

самку в любви олелеяв.

„Хочешь

бесценнейшую из звездного скопа?“

И вот

для него

легион Галилеев

елозит по звездам в глаза телескопов.

Встрясывают революции царств тельца,

меняет погонщиков человеческий табун,

но тебя,

некоронованного сердец владельца,

ни один не трогает бунт!

СТРАСТИ МАЯКОВСКОГО

Слышите?

Слышите лошажье ржанье?

Слышите?

Слышите вопли автомобильи?

Это идут,

идут горожане

выкупаться в Его обилии.

Разлив людей.

Затерся в люд,

расстроенный и хлюпкий.

Хватаюсь за уздцы.

Ловлю

за фалды и за юбки.

Что это?

Ты?

Туда же ведома?!

В святошестве изолгалась!

Как красный фонарь у публичного дома,

кровав

налившийся глаз.

Зачем тебе?

Остановись!

Я знаю радость слаже!

Надменно лес ресниц навис.

Остановись!

Ушла уже ..

Там, возносясь над головами, Он.

Череп блестит,

хоть надень его на ноги,

безволосый,
весь рассиялся в лоске.
Только
у пальца безымянного
на последней фаланге
три
из-под бриллианта
выщетинились волосики.

Вижу — подошла.
Склонилась руке.
Губы волосикам,
шепчут над ними они,
„Флейточкой“ называют один,
„Облачком“ другой,
третий сияньем неведомым
какого то,
только что
мною творимого имени.

ВОЗНЕСЕНИЕ МАЯКОВСКОГО

Я сам поэт. Детей учите: „солнце встает
над ковылями“. С любовного ложа из-за Его
волосиков любимой голова.

Глазами взвила ввысь стрелу.
Улыбку убери твою!
А сердце рвется к выстрелу,
а горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.
Идет за мной,
к воде манит,

ведет на крыши скат.
Снега кругом.
Снегов налет.
Завьются и замрут.
И падает —
опять! —
на лед
замерзший изумруд.
Дрожит душа.
Меж льдов она,
и ей из льдов не выйти!
Вот так и буду,
заколдованный,
набережной Невы итти.
Шагну —
и снова в месте том.
Рванусь —
и снова зря.

Воздвигся перед носом дом.
Разверзлась за оконным льдом
пузатая заря.

Туда!

Мяукал кот.
Коптел горя
ночник.
Звонюсь в звонок.
Аптекаря!
Аптекаря!
Повис на палки ног.

Выросли,
спутались мысли,

оленьи
рога.
Плачем марзя
пол,
распластался в моленьи
о моем потерянном рае.

Аптекарь!
Аптекарь!
где
до конца
сердце тоску изноет?
У неба ль бескрайнего в нивах,
в бреде ль Сахар,
у пустынь в помешанном зное
есть приют для ревнивых?
За стенками склянок столько тайн.
Ты знаешь высшие справедливости.
Аптекарь,
дай
душу
без боли
в просторы вывести.

Протягивает.
Череп.
„Яд“.
Скрестилась кость на кость.

Кому даешь?
Бессмертен я,
твой небывалый гость.
Глаза слепые,
голос нем,
и разум запер дверь за ним,

так что ж —
еще! —
нашел во мне,
чтоб ядом быть растерзанным?

Мутная догадка по глупому пробрела.
В окнах зеваки.
Дыбятся волоса.
И вдруг я
плавно оплываю прилавок.
Пистолет отверзается сам.
Визги.
Шум.
„Над домом висит!“
Над домом вишу.
Церковь в закате.
Крест огарком.
Мимо!
Леса верхи.
Вороньем окаркан.
Мимо!

Студенты!
Вздор
все, что знаем и учим!
Физика, химия и астрономия — чушь.
Вот захотел
и по тучам
лечу ж.

Всюду теперь!
Можно везде мне.
Взбурься, баллад поэтовых тина.
Пойте теперь

о новом — пойте — Демоне
в американском пиджаке
и блеске желтых ботинок.

МАЯКОВСКИЙ В НЕБЕ

Стоп!

Скидываю на тучу
вещей
и тела усталого
кладь.

Благоприятны места, в которых доселе не был

Оглядываюсь.

Эта вот
зализанная гладь —
это и есть хваленое небо?

Посмотрим, посмотрим!

Искрило,
сверкало,
блестело
и
шорох шел —
облако
или
бестелые
тихо скользили.

„Если красавица в любви клянется...“

Здесь,
на небесной тверди

слышать музыку Верди?
В облаке скважина.
Заглядываю
— ангелы поют.
Важно живут ангелы.
Важно.

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
„Ну как вам,
Владимир Владимирович,
нравится Сездна?“
И я отвечаю так же любезно:
„Прелестная бездна.
Бездна — восторг!“

Раздражало вначале:
нет тебе
ни угла ни одного,
ни чаю,
ни к чаю газет.
Постепенно вживался небесам в уклад
Выхожу с другими глазеть,
не пришло ли новых.

„А, и вы!“
Радостно обнял.
„Здравствуйте, Владимир Владимирович!“
„Здравствуйте, Абрам Васильевич!
Ну, как кончались?
Ничего?
Удобно ль?“

Хорошие шуточки, а?

Понравилось.
Стал стоять при въезде.
И если
знакомые
являлись, умирав,
сопровождал их,
показывая в рампе созвездий
величественную бутафорию миров.

Центральная станция всех явлений,
путаница штепселей, рычагов и ручек.
Вот сюда

— и миры застынут в лени —
вот сюда

— завертятся шибче и круче.

„Крутните, — просят, —
да так, чтоб вымер мир.

Что им?

кровью поля поливать?“

Смеюсь горячности.

„Шут с ними!

Пусть поливают,
плевать!“

Главный склад всевозможных лучей.

Место выгоревшие звезды кидать.

Ветхий чертеж

— неизвестно чей —

первый неудавшийся проект кита.

Серьезно.

Занято.

Кто тучи чинит,

кто жар надбавляет солнцу в печи.

Все в страшном порядке,

в покое,

в чине.

Никто не толкается.
Впрочем и нечем.

Сперва ругались.
„Шатается без дела!“
Я для сердца,
а где у бестелых сердца?!
Предложил им:
„Хотите,
по облаку
телом
развалюсь
и буду всех созерцать“
„Нет, — говорят, — это нам не подходит!“
„Ну, не подходит — как знаете! Мое дело
предложить“.

Кузни времен вздыхают меха —
и новый
год
готов.
Отсюда
низвергается, громыхая,
страшный оползень годов.

Я счет не веду неделям.
Мы,
хранимые в рамах времен,
мы любовь на дни не делим,
не меняем любимых имен.
Стих.
Лучам луны на мели
слег,
волнение снами сморя,
будто на пляже южном,

только еще онемелей,
и по мне,
насквозь излаская,
катятся вечности моря.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЯКОВСКОГО

1, 2, 4, 8, 16, тысячи, миллионы.

Вставай,
довольно!
На солнце очи!
Доколе будешь распастан, нем?

Бурчу спросонок:
„Чего грохочут?
Кто смеет сердцем шуметь во мне?“

Утро,
вечер ли?
Ровен белесый свет небес.

Сколько их,
веков,
успело уйти,
в дребезги дней разбилось о даль...
Думаю,
глядя на млечные пути,
— не моя седая развеялась борода ль?

Звезды падают.
Стал глаза вести.
Ишь,

туда,
на землю, быстрая!

Проснулись в сердце забытые зависти,
а мозг
досужий
фантазию выстроил.
— Теперь
на земле,
должно быть, ново.
Пахучие весны развесили в селах.
Город каждый, должно быть, иллюминирован.
Поет семья краснощеких и веселых.

Тоска возникла.
Резче и резче.
Царственно туча встает,
дальнее вспыхнет облако,
все мне мерещится
близость
какого-то земного сблика.

Напрягся,
ищу
меж другими точками
землю.
Вот она!
Въелся.
Моря различаю,
горы в орлином клекоте...

Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся

немного
на локте
форменный лесничего сюртук.

Раздражает.
Тоже
установился наземь.
Какая старому мысль ясна?
Тихо говорит:
„На Кавказе,
вероятно, весна“.

Бестелое стадо,
ну и тоску ж оно
гонит!

Взбубнилась злоба апаша.

Папаша,
мне скушно!
Мне скушно, папаша!
Глупых поэтов небом маните,
вырядились
звезд ордена!
Солнце!
Чего расплескалось мантией?
Думаешь — кардинал?
Довольно лучи обсасывать в спячке.
За мной!
Все равно без ножек
— чего вам пачкать?!

И глош не понадобится в грязи земной.
Звезды!
Довольно
мученический плести
венки

земле!
Озакатили красным.
Кто там
крылами
к земле блестит?
Заря?
Стой!
По дороге как раз нам.

То перекинусь радугой,
то хвост завью кометою.
Чего пошел играть дугой?
Какую жуть в кайме таю?

Показываю
мирам
номера
невероятной скорости.
Дух
бездомный давно
полон дум о давних
днях.
Земных полушарий горсти
вижу —
лежат города в них.

Отдельные голоса различает ухо.

Взмахах в ста.

„Здравствуй, старуха!“
Поскользнулся в асфальте.
Встал.

То-то удивятся не ихней силище
путешественника неб.

Голоса.

„Смотрите,
должно быть, красильщик
с крыши.
Еще удачно!
Тяжелый хлеб“.

И снова
толпа
в поводу у дела,
громоголосый катился день ее.

О, есть ли
глотка,
чтоб громче вгудела
— города громче —
в его гудение.

Кто схватит улиц рвущийся рымах!
Кто может распутать тоннелей подкопы!
Кто их остановит,
по воздуху
в дымах
аэропланами буравящих копать?!

По скату экватора
из Чикаг
сквозь Тамбовы
катятся рубли.
Вытянув вы,
гонятся все,
телами утрамбовывая
горы,
моря,
мостовые.

Их тот же лысый
невидимый водит,
главный танцмейстер земного канкана.
То в виде идеи,
то чорта вроде,
то богом сияет, за облако канув.

Тише, философы!
Я знаю —
не спорьте
— зачем источник жизни дарен им.
Затем, чтоб рвать,
затем, чтоб портить
дни листкам календарным.

Их жалеть?
А меня им жаль?
Сожрали бульвары,
сады,
предместья!
Антиквар?
Покажите!
Покупаю кинжал.
И сладко чувствовать,
что вот
пред местью я.

МАЯКОВСКИЙ ВЕКАМ

Куда я,
зачем я?
Улицей сотовой
мечусь
человечьим
разжужженным ульем.

Глаза пролетают оконные соты,
и тяжело,
и чуждо,
и мерзко в июле им.

Витрины и окна тушит
город.

Устал и сник.

И только
туч выпотрашивает туши
кровавый закат-мясник.

Слоняюсь.
Мост феерический.
Влез.
И в страшном волнении взираю с него я.
Стоял вспоминая.
Был этот блеск,
и это
тогда
называлось Невойю.

Здесь город был.
Бессмысленный город,
выпутанный в дымы трубного леса.
В этом самом городе
скоро
ночи начнутся,
остеклянелые,
белесые.

Июлю капут.
Обезночел загретый.

Избредился в шопот чего-то сквозного.
То видится крест лазаретной кареты,
то слышится выстрел.
Умолкнет —
и снова.

Я знаю,
такому, как я,
накалиться
недолго,
конечно,
но все-таки дико,
когда не фонарные тыщи,
а лица.
Где было подобие этого тика?

И вижу над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.
И снова стою
онемелый и вкопанный.
Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,
почти что дыханье,
почти что голос,
я думаю — призрак,
он взял, да и ожил.

Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало —
одна!—

— раскинулась в шествие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
— снова!—
мое сумасшествие!

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы
Дома похожи.
Еот так же
из ниши
головы кобылей
вылеп.
— Прохожий!
Это улица Жуковского?
Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза еот такие,
стараётся мимо.
„Она — Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой“.
Кто,
я застрелился?
Такое загнут
Блестящую радость, сердце, вычекань:
Окну.
лечу.
Небес привычка.

Высоко.
Глубже ввысь зашел
за этажем этаж.
Завесилась.
Смотрю за шелк —

— все то же,
спальня та ж.

Сквозь тысячи лет прошла — и юна.
Лежишь,
волоса луною высиня.
Минута...
и то,
что было — луна,
его оказалась голая лысина.
Нашел!

Теперь пускай поспят.
Рука,
кинжала жало стиснь!
Крадусь,
приглядываюсь —
и опять!
люблю
и вспять
иду в любви и в жалости.

Доброе утро!

Зажглось электричество.
Глаз два выката.
— „Кто вы?“ —
„Я Николаев
— инженер.
Это моя квартира.
А вы кто?
Чего пристаєте к моей жене?“

Чужая комната.
Утро дрогло.

Трясая уголками губ,
чужая женщина,
раздетая догола.

Бегу.

Растерзанной тенью,
большой,
косматый,
несусь по стене,
луной облитый.
Жильцы выбегают, запахивая халаты.
Гремлю о плиты.
Швейцара ударами в угол загнал.
— „Из сорок второго
куда ее дели?“ —
„Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле“.

Куда теперь?
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне

наручники
любви тысячелетия...

Погибнет все.
Сойдет на-нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

ПОСЛЕДНЕЕ

Ширь,
бездомного
снова
лоном твоим прими!
Небо какое теперь?
Звезде какой?
Тысячью церквей
подо мной
затянул
и тянет мир:
„Со святыми упокой!“

(1917)

1917—1921

РЕВОЛЮЦИЯ

ПОЭТОХРОНИКА

26 февраля. Пьяные, смешанные с полицией,
солдаты стреляли в народ.

27-е.

Разлился по блескам дул и лезвий
рассвет.

Рдел багрян и долог.

В промозглой казарме

суровый

резвый

молился Волынский полк.

Жестоким

солдатским богом божились

роты,

бились об пол головой многолобой.

Кровь разжигалась, висками жиясь.

Руки в железо сжимались злобой.

Первому же

приказавшему

— „Стрелять за голод!“ —

заткнули пулей орущий рот.

Чье-то — „Смирно!“

Не кончил.

Заколот.

Вырвалась городу буря рот.

9 часов.

На своем постоянном месте
в Военной автомобильной школе
стоим,
зажатые казарм оградой.
Рассвет растет,
сомнением колет,
предчувствием страха и радуя.

Окну!

Вижу —

оттуда,

где режется небо

дворцов иззубленной линией,

взлетел,

простерся орел самодержца

черней, чем раньше,

злей,

орлинее.

Сразу —

люди,

лошади,

фонари,

дома

и моя казарма

толпами

по сто

ринулись на улицу.

Шагами ломаемая, звенит мостовая.

Уши крушит невероятная поступь.

И вот неведомо,

из пенья толпы ль,

из рвущейся меди ли труб гвардейцев,
нерукотворный,
сияньем пробивая пыль,
образ возрос.
Горит.
Рдеется.

Шире и шире крыл окружие.
Хлеба нужней,
воды изжажданней,
вот она:
„Граждане, за ружья!
К оружию, граждане!“
На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее „Прежде“.
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Граждане!
Это первый день рабочего потопа.
Идем
запутавшемуся миру на выручу!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырывают!

Горе двуглавному!
Пенится пенье.
Пьянит толпу.

Площади плещут.
На крохотном форде
мчим,
обгоняя погони пуль.
Взрывом гудков продираемся в городе.

В тумане.
Улиц река дымит.
Как в бурю дюжина груженных барж,
над баррикадами
плывет громохвая марсельский марш.

Первого дня огневое ядро жужжа скатилось
за купол Думы.
Нового утра новую дрожь встречаем у новых
сомнений в бреду мы.

Что будет?
Их ли из окон выломим
или на нарах
ждать,
чтоб снова
Россию
могилами
выгорбил монарх?

Душу глушу об выстрел резкий.
Дальше
в шинели орыт.
Рассыпав дома в пулеметном треске,
город грохочет.
Город горит.

Везде языки.
Взовьются и лягут.
Вновь взвиваются, искры рассея.

Это улицы,
взяв по красному флагу,
призывом зарев зовут Россию.

Еще!
О, еще!
О, ярче учи, краснаязыкий оратор!
Зажми и солнца
и лун лучи
мстящими пальцами тысячерукого Марата!

Смерть двуглавному!
Каторгам в двери
ломись,
когтями ржавые выев.
Пучками черных орлиных перьев подбитые
падают городовые.

Сдается столицы горящий остов.
По чердакам раскинули поиск.
Минута близко.
На Троицкий мост вступают толпы войск.
Скрип содрогает устои и скрепы:
Стиснулись.
Бьемся.
Секунда!—
и в лак
заката
с фортов Петропавловской крепости
взвился огнем революции флаг.

Смерть двуглавному!
Шеищи глав
рубите наотмашь!
Чтоб больше не ожил.
Вот он!

Падает!
В последнего из-за угла!—вцепился.
„Боже,
четыре тысячи в лоно твое прими!“

Довольно!
Радость трубите всеми голосами!
Нам
до бога
дело какое?
Сами
со святыми своих упокоим.

Что ж не поете?
Или
души задушены Сибирей саваном?
Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-ва нам!
Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скрижали
с нашего серого Синая.

Нам,
поселянам Земли,
каждый Земли Поселянин родной.
Все
по станкам,
по конторам,
по шахтам братья.
Мы все
на земле
солдаты одной,
жизнь созидающей рати.
Пробеги планет,

держав бытие
подвластны нашим волям.
Наша земля.
Воздух — наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных
копий.

Чья злоба надвое землю сломала?
Кто вздыбил дымы над заревом боем?
Или солнца
одного
на всех мало?
или небо над нами мало голубое?!

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
последний штык заводы гранят.
Мы всех заставим рассыпать порох.
Мы детям раздарим мячи гранат.

Не трусость вопит под шинелью серою,
не крики тех, кому есть нечего;
это народа огромного громовое:
— Верую
величию сердца человеческого! —

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся, в любви изверясь,
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

(1917)

СКАЗКА О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Жил да был на свете кадет.

В красную шапочку кадет был одет.

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету, ни черта в нем красного не было и нету.

Услышит кадет — революция где-то, шапочка сейчас же на голове кадета.

Жили припеваючи за кадетом кадет, и отец кадета и кадетов дед.

Поднялся однажды пребольшуший ветер, в клочья шапочку изорвал на кадете.

И остался он черный. А видевшие это волки революции сцапали кадета.

Известно, какая у волков диета. Вместе с манжетами сожрали кадета.

Когда будете делать политику, дети, не забудьте сказочку об этом кадете.

(1917)

К ОТВЕТУ

Гремит и гремит войны барабан.

Зовет железо в живых втыкать.

Из каждой страны

за рабом раба

бросают на сталь штыка.

За что?

Дрожит земля

голодна,

раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И растопчут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.
Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
Свобода?
Бог?
Рубль!
Когда же встанешь во весь рост
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
За что воюем?

(1917)

ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ

Плыли по небу тучки.
Тучек — четыре штучки:

от первой до третьей — люди,
четвертая была верблюдик.

К ним, любопытством объятая,
по дороге пристала пятая,

от нее в небосинем лоне •
разбежались за слоником слоник.

И, не знаю, спугнула шестая ли,
тучки взяли все — и растаяли.

И следом за ними, гонясь и сжирав,
солнце погналось — желтый жирафф.

(1917)

НАШ МАРШ

Бейте в площади бунтов топот!
Выше гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли наших золот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?

Наше оружие — наши песни.
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет бысролетным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

(1918)

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —

Ветром опита,
льдом обуга
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,

штаны, пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,

смех зазвенел и зазвякал:

— Лошадь упала! —

— Упала лошадь! —

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

Подошел

и вижу

глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,

течет по-своему...

Подошел и вижу —

за каплищей каплища

по морде катится,

прячется в шерсти..

И какая-то общая

звериная тоска

плеща вылилась из меня

и расплылась в шелесте.

„Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте —

чего вы думаете, что вы их плоше?

Деточка.

Все мы немножко лошади,

каждый из нас по-своему лошадь“.

Может быть

— старая —

и не нуждалась в няньке,

может быть, и мысль ей моя казалась пошла,

только

лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

(1918)

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъязвленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
„О“!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?

Машинисту,
пылью угля овеянному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля, —
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.
„Слава“.
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.
Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная! —

(1918)

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.

Есть еще хорошие буквы:

Эр,
Ша,
Ща.

Это мало — построить парами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.

Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую

в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошевых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

(1918)

ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:
„Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать — кишка тонка“.
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю —
не любите праздных фраз вы.
Рубите дуб — работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?

Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь — рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов — почтенный паче —
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд — гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в бездельи бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше — поэт
или техник,
который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца — такие ж моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молотом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

(1918)

ЛЕВЫЙ МАРШ

(МАТРОСАМ)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!

Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами горя
солнечный край непчатый.
За голод,

за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нáнтятой,
стальной изливаются леевой, —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

(1918)

ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ

Небывалей не было у истории в аннале
факта:
вчера,
сквозь иней,
звения в „Интернационале“,
Смольный
ринулся
к рабочим в Берлине.
И вдруг

увидели
деятели сыска,
все эти завсегдатаи баров и опер,
триэтажный
призрак
со стороны российской.
Поднялся.
Шагает по Европе.
Обедающие не успели окончить обед —
в место это
грохнулся,
и над Аллеей Побед —
знамя
„Власть советов“.
Напрасно пухлые руки взмолены, —
не остановить в его неслышном карьере.
Раздавил,
и дальше ринулся Смольный,
республик и царств беря барьеры.
И уже
из лоска
тротуарного глянца
Брюсселя,
натягивая нерв,
росла легенда
про летучего Голландца —
Голландца революционеров.
А он —
по полям Бельгии,
по рыжим от крови полям,
туда,
где гудит союзное ржанье,
метнулся.
Красный встал над Парижем.
Смолкли парижане.

Стоишь и сладостным маршем манишь.
И вот,
восстанию в лапы отдана,
рухнула республика,
а он — за Ламанш.
На площадь выводит подвалы Лондона.
А после
пароходы
низко-низко
над океаном Атлантическим видели —
пронесся
к шахтерам калифорнийским.
Говорят —
огонь из зева выделил.
Сих фактов оценки различна мерка.
Не верили многие.
Ловчились в спорах.
А в пятницу
утром
вспыхнула Америка,
землей казавшаяся, оказалось порох.
И если
скулит
обывательская моль нам:
не увлекайтесь Россией, восторженные
дети, —
я
указываю
на эту историю со Смольным.
А этому
я,
Маяковский,
свидетель.

(1919)

С ТОВАРИЩЕСКИМ ПРИВЕТОМ.
МАЯКОВСКИЙ

Дралось
некогда
греков триста
сразу с войском персидским всем.
Так и мы.
Но нас,
футуристов,
нас всего — быть может — семь.
Тех
нашли у истории в пылях.
Подсчитали
всех, кто сражен.
И поют
про смерть в Фермопилах.
Восхваляют, что лез на рожон.
Если петь
про залезших в щели,
меч подъявших
и павших от, —
как не петь
нас,
у мыслей в ущельи
не сдаваясь дерущихся год?
Слава вам!
Для посмертной лести
да не словит вас смерти лов.
Неуязвимые, лезьте
по скользящим скалам слов.
Пусть
хотя б по капле,
по две
ваши души в мир вольются

и растят
рабочий подвиг,
именуемый
„Революция“.
Поздравители
не хлопают дверью?
Им
от страха
небо в овчину?
И не надо,
Сотую —
верю! —
встретим годовщину.

(1919)

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ
ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева.
27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —

дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
„Слазь!
довольно шлаться в пекло!“
Я крикнул солнцу:
„Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!“
Я крикнул солнцу:
„Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!“
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,

раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведа,
заговорило басм:
„Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!“
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила.
но я ему —
на самовар:
„Ну что ж,
садись, светило!“
Чорт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сiju, разговорясь
с светилом постепенно.

Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
„Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось итти,
идешь — и светишь в оба!“
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На „ты“
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
„Ты да я,
нас, товарищ, двое:
Пойдем, поэт,
взорлим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами“.
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустэзolkой пала.

Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

(1920)

ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
„Страсти крут обрыв —
будьте добры,

отойдите.
Отойдите,
будьте добры“.

(1920)

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:
„Я видела—
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...“ —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне,
ей-богу, не страшен.

(1920)

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

(СТАРАЯ, НО ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ)

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат:

— Кум сказал, —
а в ём ума —
я-то куму верю, —
что барон-то,
слышь, кума,
меж Москвой и Тверью.
Чуть не даром
все
в Твери
стало продаваться.
Пуд крупчатки...
— Ну,
не ври! —
пуд за рупь за двадцать.
— А вина — скажу я вам!
Дух над Тверью водочный.
Пьяных
лично
по домам
водит околоточный.
Влюблены в барона власть
левые и правые.
Ну, не власть, а прямо сласть,
просто — равноправие.

Встали, ртом ловя ворон.
Скоро ли примчится?
Скоро ль будет царь-барон
и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.
— На, — сказал он бабе, —
сороходы-сапоги,
к Врангелю зашла бы! —

Вмиг обувшись,
шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрыхнул ей:
во Твери
власть стоит советов.

Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб баронский
увидать
флаг
на Ай-Петри.

Разогнавшись с дальних стран,
удержаться сиясь,
баба
прямо
в ресторан
в Ялте опустилась.

В „Грандотеле“
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбешку тоже.

Метрдотель
желанья те
зрит —
и на подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.
Все в копеечной цене.

Съехал сдуру разум,
Молвит баба:
— Дайте мне
всю программу разом! —

От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то

просит счет
бабин голос слабый.

Вся собралась публика.
Стали шелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!

С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.

Отскочил хозяин.

— Нет!
(Бледность мелом в рожке.) —
Наш-то рупь не в той цене,
наш в миллион дороже. —
Завопил хозяин лют:
— Знаешь разницу валют?!
Беспортошных нету тут,
генералы тут пьют! —
Возопил хозяин в яри:

— Это, тетка, что же!

Этак

каждый пролетарий
жрать захочет тоже.

— Будешь знать, как есть и пить! —
все завыли в злости.

Стал хозяин тетку бить,
метрдотель

и гости.

Околоточный

на шум

прибежал из части.

Взвыла баба:

— Ой,

прошу,

защитите, власти! —

Как подняла власть сия
с шпорой сапожища...

Как полезла

мигом

вся

вспять

из бабы пища.

— Много, — молвит, — благ в Крыму —
только для буржуя,
а тебя, мою куму,
в часть препровожу я.

Влезла

тетка

в скороход
пред тюремной дверью.

как задала тетка ход —
в Эрэсэфэсэрю.

Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
 в том раю
сами побывать ли?!

(1920)

ПЕСНЯ РЯЗАНСКОГО МУЖИКА

Не хочу я быть советской.
 Батюшки!
А хочу я жизни светской.
 Матушки!
Походил я в белы страны.
 Батюшки!
Мужиков встречают странно.
 Матушки!
Побывал у Дутова.
 Батюшки!
Отпустили вздутого.
 Матушки!
Мамонтов-то генерал —
 Батюшки! —
матершинно наорал.
 Матушки!
Я к Краснову,
 у Краснова —
 Батюшки! —

кулачище —
сук сосновый.
Матушки!
Я к Деникину,
а он —
Батюшки! —
бьет крестьян, как фараон.
Матушки!
Я ему:
„Все люди братья...“
Батюшки! —
А он:
„И братьев буду драть я“.
Матушки!
Я подался к Колчаку.
Батюшки!
Своротил со скул щеку.
Матушки!
На Украину махнул.
Батюшки!
Думаю, теперь вздохну.
Матушки!
А Петлюра с Киева —
Батюшки! —
уж орет: „Секи его!“
Матушки!
Видно, белый ананас —
Батюшки! —
наработан не для нас.
Матушки!

Не пойду я ни к кому —
Батюшки! —
окромя родных коммун.
Матушки!

(1920)

БАБЬИ БУБЛИКИ

Сья история была
в некоей республике, —
баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
У ларьков наполнен рот,
все в ларьке имеется.
В это время на фронт
шли красноармейцы.
Кушать хотца одному,
говорит он:

„Тетя,
бублик дай голодному,
вы ж на фронт нейдете!
Коль без дела будет рот,
буду слаб, как моши.
Пан республику сожрет,
если будем тощи!“
Баба молвила: „Ни в жисть
не отдам я бублики.
Прочь, служивый, отвяжись,
чорта ль мне в республике!“
Шел наш полк и худ и тощ,
паны ж все — саженные.
Нас смела панова мощь
в первом же сражении.

Чтоб вовеки
 не смел
 никакой Керзон
братъ на-пушку,
 горланить ноты, —
даже землю паша,
 помни
 сабельный звон,
помни
 марш
 атакующей
 роты.
Молодцом
 на коня боевого влазь,
по земле
 пехотинься пеший.
С неба
 землю всю
 глазами оглазь,
на железного
 коршуна
 севши.
Мир пока,
 но на страже
 красных годов
стой
 на нашей
 красной вышке.
Будь смел!
 Будь умел.
 Будь
 всегда
 готов



Рисунки Маяковского к первому



изданию „Сказки о дезертире“

первым
ринуться
в первой вспышке.

Кто
из вас
не крещен
военным огнем,
кто считает,
что шкурнику
лучше?

Прочитай про это,
подумай о нем,
вникни
в этот
сказочный случай.

Защищая
рабоче-крестьянскую Русь,
встали
фронтами
красноармейцы.

Но — как в стаде
овца паршивая —
трус
и меж их
рядами
имеется.

Жил
в одном во полку
Силеверст Рябой.

Голова у Рябого —
пробкова.

Чуть пойдет
наш полк
против белых в бой,

а его
и не видно,
робкого.
Дело ясное:
бьется рать
горяча
против
барско-буржуйского ига.
У Рябого ж
слово одно:
„Для ча
буду
я
на рожон прыгать?“
Встал стеною полк,
фронт раскинул
свой.
Силеверст
стоит в карауле.
Подымает
пуля за пулей
вой.
Силеверст
испугался пули.
Дома
печь да щи.
Замечтал
Силеверст.
Бабыя
рожа
встала
из воздуха.
Да как дернет Рябой!
Чуть не тысячу верст

пробежал
без единого
роздыха.
Вот и холм,
а там
и дом за холмом,
будет
дома
в скором времечке.
Вот и холм пробежал,
вот плетень
и дом,
вот
жена его
лускает
семечки.
Прибежал,
пошел лобызаться
с женой,
чаю выдул —
стаканов до тыщи;
задремал,
заснул
и храпит,
как Ной, —
с ГПУ
и то
не сыщешь.
А на фронте
враг
видит:
пслк с дырой,
враг
пролазит
щелью этою.

А за ним
и золотозадый
рой
лезет в дырку,
блестит эполетою.
Поп,
урядник —
сивуха
течет по усам,
с ним —
петля
и прочие вещи.
Между ними —
царь
самодержец сам,
за царем —
кулак
да помещик.
Лезут,
в радости
аж не чуют ног,
где
и сколько занято мест ими?!
Пролетария
гнут в бараний рог,
сыпят
в спину крестьян
манифестами.
Отошла
земля
к живоглотам
назад,
наложили
наложища
тяжкие.

Лишь свистит
 в урядничьей ручке
 лоза —
знай всыпает
 и в спину
 и в ляшки.
Улизнувшие
 бары
 едут в дом.
Мчит буржуй.
 Не видали три года, никак.
Снова
 школьника
 поп
 обучает крестом —
уважать заставляет
 угодников.
В то село пришли,
 где храпел
 Силеверст.
Видят —
 выглядит
 дом
 аккуратненько.
Тычет
 в хату Рябого
 исправничий
 перст,
посылает занять
 урядника.
Дурню
 снится сон:
 де в раю живет,
и галушки
 лопает тыщами.

Вдруг
как хватит
его
крокодил
за живот!

То урядник
хватил
сапожищами.

„Как ты смеешь спать,
такой-рассякой,
мать твою растак
да разэтак!

Я тебя запорю,
я тебя засеку
и повешу
тебя

напоследок!“ —

„Барин!“ —
взвыл Силеверст,
а его
кнутом

хвать помещик
по сытой роже.

„Подавай
и себя,
и поля,
и дом,

и жену
помещику
тоже!“

И пошел
прошибать
Силеверста
пот,

вновь припомнил
барщины муку,
а жена его
на дворе
у господ
грудью
кормит
барскую суку.

Сей истории
прост
и ясен сказ —
посмотри,
как наказаны дурни;
чтобы то же
не стряслось и у вас —
да не будет
меж вами
шкурник.

Нынче сына
даем
не царям на зарез —
за себя
этот боище
начат.

Провожая
рекрутов
молодолес,
провожай поя,
а не плача.

Чтоб помещики
вновь
не взнуздали вас,
не в пример
Силеверсту-бедняге, —

проводя
 сынов,
 давайте наказ:
будьте
 верными
 красной присяге.

(1921)

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, красноезвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу Коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, —
телами рвы заполняли вы,
по трупам пройдя перешеек.
Они
за окопом взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, —
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.
Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава, —
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена

за этими днями хмурыми,
мы знаем:
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.
В одну благодарность сливаем слова
тебе,
краснозвездная лава.
Вовеки веков, товарищи,
вам —
слава, слава, слава!

(1921) .

МИСТЕРИЯ БУФФ

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

ДЕЙСТВУЮТ

1. Семь пар чистых. Абиссинский негус, индийский раджа, турецкий паша, русский купчина, китаец, упитанный перс, толстый француз, австралиец с женой, поп, офицер-немец, офицер-итальянец, американец, студ. ит.

2. Семь пар нечистых. Трубочист, фонарщик, шифер, швея, рудокол, плотник, батрак, слуга, сапожник, кузнец, булочник, прачка и эскимосы: рыбаки и охотники.

3. Дама-истерика.

4. Черти. Штаб Вельзевула и два вестовых.

5. Святые. Златоуст, Лев Толстой, Мафусаил, Жан-Жак Руссо и др.

6. Вещи. Машина, хлеб, соль, пила, игла, молот, книга и др.

7. Человек просто.

МЕСТА ДЕЙСТВИЙ

I. Вся вселенная.

II. Ковчег.

III. 1-я картина: Ад.

2-я " Рай.

3-я " Земля обетованная.

ПРОЛОГ

СЕМИ НЕЧИСТЫХ ПАР

Это об нас взывала земля голосом пушечного
рева.

Это нами взбухали поля, кровями опоены.

Стоим.

исторгнутые из земного чрева

кесаревым сечением войны.

Славим

восстаний,

бунтов,

революций день —

тебя,

идуший, черепа мозжа!

Нашего второго рождения день —

мир возмужал.

Бывает —

станет пароход вдалеке,

надымит

и уйдет по зеркальности водней,

и долго дымными дышишь легендами, —

так жизнь ускользала от нас до сегодня.

Нам написали евангелие,

Коран,

„Потерянный и возвращенный рай“,

и еще,

и еще —

многое множество книжек.

Каждая — радость загробную сулит, умна и
хитра.

Здесь,

на земле хотим

не выше жить

и не ниже

всех этих елей, домов, дорог, лошадей и трав.

Нам надоели небесные сласти —

хлебище дайте жрать ржаной!

Нам надоели бумажные страсти —

дайте жить с живой женой!

Там,

в гардеробах театров

блестки оперных этуалей

КОММУНАЛЬНЫЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ.

7.8 НОЯБРЯ %.

МЫ ПОЭТЫ, ХУДОЖНИКИ, РЕЖИССЕРЫ И АКТЕРЫ
ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ

ОКТАБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Революционным спектаклем
нами будет дана:

I КАРТ.
БЕЛЫЕ И
ЧЕРНЫЕ БЕ-
ГУТ ОТ КРАС-
НОГО ПОТОПА.

II КАРТ. КОВЧЕГ.
ЧИСТЫЕ ПОДСО-
ВЫВАЮТ НЕЧИ-
СТЫМ ЦАРЯ И РЕС-
ПУБЛИКУ. САМИ
УВИДИТЕ ЧТО
ИЗ ЭТОГО ПОЛУ-
ЧАЕТСЯ.

III КАРТ. АД
В КОТОРОМ
РАБОЧИЕ СА-
МОГО ВЕЛЬЗЕ-
ВУЛА К ЧЕРТЯМ
ПОСЛАЛИ

IV КАРТ.
РАЙ. КРУП-
НЫЙ РАЗГО-
ВОР БАТРАКА
С МАФУСАИЛОМ.

V КАРТИНА. КОМ-
МУНА! СОЛНЕЧ-
НЫЙ ПРАЗД-
НИК ВЕЩЕЙ
И РАБОЧИХ

РАСКРАШЕНО
МАЛЕВИЧЕМ.
ПОСТАВЛЕНО
МЕЙЕРХОЛЬДОМ
И МАЯКОВСКИМ.
РАЗЫГРАНО ВОЛЬ-
НЫМИ АКТЕРАМИ



„!МИСТЕРИЯ БУФФ!“

ГЕРОИЧЕСКОЕ, ЭПИЧЕСКОЕ И САТИРИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАШЕЙ ЭПОХИ. СДЕЛАННОЕ

В. МАЯКОВСКИМ.

Билеты на 7-е и 8-е ноября в распоряжении ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО.

9-го ноября „МИСТЕРИЯ-БУФФ“ открытый спектакль.
НАЧАЛО В 8% ЧАС. ВЕЧЕРА

Афиша первого представления „Мистерии Буфф“.

да плащ мефистофельский —
все, что есть там!
Старый портной не для наших старался талий.
Что ж,
неуклюжая пусть
одежа —
да наша.
Нам место!
Сегодня
над пылью театров
наш загорится девиз:
„Все заново!“
Стой и дивись!
Занавес!

Расходятся. Раздирают занавес, замалеванный реликвиями
старого театра.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

На зареве северного сияния шар земной, упирающийся
полюсом в лед пола. По всему шару лестницами перекре-
щаются канаты широт и долгот. Меж двух моржей,
подпирающих мир, эскимос-охотник, уткнувшийся пальцем
в землю, орет другому, растянувшемуся перед ним у
костра.

Эскимос-охотник.

Эйе!

Эйе!

Рыбак.

Горланит!

Дела другого нет —
пальцем землю тыркать.

Охотник.

Дырка!

Рыбак.

Где дырка?

Охотник.

Течет!

Рыбак.

Что течет?

Охотник.

Земля!

Рыбак *(вскакивая, подбегая и засматривая под зажимающий палец)*.

О-о-о-о!

Дело нечистых рук.

Чорт!

Пойду предупрежу полярный круг.

Бежит. На него из-за склона мира насккивает выжимающий рукава француз. Секунду ищет пуговицу и, не найдя, ухватывает шерсть шубы.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Француз.

Мосье эскимос!

Мосье эскимос!

Страшно спешно!

Пара минут...

Рыбак.

Ну?

Француз.

Так вот:
сегодня
у себя в Париже
сiju я это,
ев филе,
не помню, другое что-то ев ли,
и вижу —
неладно верзиле Эйфеля.
Думаю — не бошей блеф ли?
Вдруг гул.
На крышу бегу.
Виясь вокруг домовьего остова,
безводный прибой
суетне вперебой
бежал,
кварталы захлестывал.
Париж — тревожного моря бред.
Невидимых волн басовые ноты.
И за,
и над,
и под,
и пред
домов дредноуты.
И прежде чем мыслью раскинуть мог,
от немцев ли, или от...

Рыбак.

Скорей!

Француз.

Я весь
до ниточки взмок.
Смотрю —

все сухо,
но льется и льется и льет.
И вдруг,
крушенья Помпеи помпезней, картина разверз-
лась —

с корнем
Париж был вырван
и вытоплен в бездне,
у мира в расплавленном горне.
Я очнулся на гребне текущих сел,
я весь свой собрал яхт-клубский опыт, —
и вот
перед вами,
милейший,
все,
что осталось теперь от Европы.

Рыбак.

И-немного.

Француз.

Успокоится, конечно...
дня-с на два-с!

Рыбак.

Да говори ты без этих европейских юлений!
Чего тебе надо? Тут не до вас.

Француз (*показывая горизонтально*).

Разрешите мне... около ваших многоуважаемых
тюленей!

Рыбак досадливо машет рукой костру, идет в другую сторону — предупреждать круг — и натывается на выбегающих из-за другого склона измокших австралийцев.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Рыбак (*отступая в удивлении*).
А еще омерзительней не было лиц?

Австралиец с женой (*вместе*).
Мы — австралийцы.

Австралиец.

Я — австралиец.
Все у нас было.
Как то-с:
утконос, пальма, дикобраз, кактус...

Австралийка (*плача, в нахлынувшем
чувстве*).

И все утонуло..
Все на дне...

Рыбак (*указывая на разлегшегося француза*).
Вот идите к ним!
А то они одне,

Собравшийся вновь итти эскимос остановился, прислушиваясь к двум голосам с двух сторон земного шара.

Первый голос.

Шляпа, у-ту!

Второй голос.

Каска, у-ту!

Первый голос.

Крепчает!
Держись за северную широту!

Второй голос.

Яреет!

Хватайтесь за южную долготу!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

По канатам широт и долгот скатываются с земного шара немецкий и итальянский офицеры, дружески бросаются друг к другу. Оба вместе.

Паазвольте пожаты!

Узнав врагов, огдергивают протянутые руки и, выхватывая на ходу сабли, бросаются.

Итальянец.

Если б я бы знал!

Проклятый шваб!

Немец.

Проклятый итальянец!

Если б знал, да я б!..

Итальянец.

Эввива Италия!

Немец.

Гох фатерлянд!

Француз бросается меж вцепившимися, австралиец обхватывает итальянца, австралийка — немца.

Француз.

Бросьте вы!

Утопли!

Нет фатерляндов.

Оба (*вкладывая сабли*).

Ну,
нет, так и не надо.

Рыбак (*качая головой*).

Вот банда!

Прямо на голову вновь собравшемуся уйти эскимосу
низвергается наш купчина.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Купец.

Почтенные,
это безобразие!
Да рази я Азия?
„Уничтожить Азию“ — постановление совнеба.
Да я же ж ни в жисть азиатом не был!

(*Успокоившись немного*.)

Сначала накрапывало,
потом пошло.
Дальше — больше,
больше — выше,
хлынуло в улицы,
рвануло крыши...

Все.

Тише!
Тише!

Француз

Слышите?
Слышите топот?

Множество приближающихся голосов.

Потоп! потопом! потопу! о потопе! потопа!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Впереди негус, за ним китаец, перс, турок, раджа, поп, студент, дама-истерика. Шествие замыкают вливающиеся со всех сторон все семь пар нечистых.

Негус.

Хоть чуть чернее снегу-с,
но тем не менее
я — абиссинский негус.
Мое почтение!
Я покинул сейчас мою Африку.
Извивался в ней Нил, удав-река.
Как взъярился Нил, царство сжав в реку!
И потопла в нем моя Африка.
Хоть нет имения,
но тем не менее...

Рыбак (*досадливо*).

...но тем не менее
мое почтение.
Слыхали! Слыхали!

Негус.

Прошу не забываться!
С вами говорит негус,
и негус хочет кушать.
Что это?
Должно быть, вкусная собачка?

Рыбак.

Я те дам собачка!
Это морж, а не собачка.
Иди садись, да никого не запачкай.
(*Обращаясь к остальным.*)

А вам чего?

К и т а е ц .

Ничего!
Ничего!
Утоп мой Китай.

П е р с .

Персия,
моя Персия пошла на дно.

Р а д ж а .

Даже Индия,
Поднебесная Индия, и га...

П а ш а .

И о Турции осталось воспоминание одно!

Голоса прибывших раньше.

Тише!
Тише!
Что это за гул!

Дама-истерика (*ломаю руки отделяется
от толпы*).

Послушайте,
я не могу!
Не могу я среди звериных рыл!
Отпустите меня
к любви,
к игре.
Кто эти перила?
Эти тени перил,
стоящие берегами кровавых рек?
Послушайте,
я не могу!

Даже как любить, я забыла уже.
Отпустите!
Не надо!
Мимо я!
Я хочу детей,
я хочу мужей,
не могу я жить нелюбимая.
Послушайте, я не могу!

Француз (*успокаивая*).

Да не трите глаз...
не кусайте губ...

(*Продвигающимся к костру нечистым,
заносчиво.*)

А вы которых наций?

Нечистые (*вместе*).

По свету всему гоняться
привык наш бродячий народина.
Мы никаких не наций.
Труд наш — наша родина.

Француз.

Старые арии!

Испуганные голоса чистых.

Это пролетарии!
Пролетарии...
Пролетарии...

Кузнец (*французу, похлопывая его по
изрядному животу*).

Шум потопа, небось, в ушах-то?

П р а ч к а *(ему же, насмешливо и визгливо)*.
Лег бы сейчас и уснул на кровати.
Пустить бы тебя в окопы да в шахты.

П р о х о д я щ и й **р у д о к о п** *(самодовольно)*.
Да —
мы ничего —
видали мокроватей.
Нечистые проходят, разделяя брезгливо жмущуюся толпу
чистых, рассаживаются у костра. Толпа чистых смыкается за
ними в круг. Паша вылезит в середину.

П а ш а.

Правоверные!
Надо обсудить, что же произошло?
Давайте вникнем в суть явления

К у п е ц.

Дело простое —
светопреставление.

П о п.

А по-моему — потоп.

Ф р а н ц у з.

И вовсе не потоп,
а то б
дождик был.

Р а д ж а.

Да,
не было дождика.

И т а л ь я н е ц.

Значит, и эта идея тоже дика...

П а ш а.

Но все-таки —
что ж это, правоверные, произошло?
Давайте, правоверные, посмотрим в корень.

К у п е ц.

Народ, по-моему, стал непокорен.

Н е м е ц.

Думаю, война, я.

С т у д е н т.

Нет!
По-моему, причина иная.
По-моему, метафизическое...

К у п е ц *(недовольно)*.

Война — метафизическое!
Начали с Адама.

Г о л о с а.

По очереди!
По очереди!
Не устраивайте содома!

П а ш а.

Тс!
Давайте говорить постепенно.
Ваше слово, студент.

(Оправдывается перед толпой.)

А то у него даже на губах пена.

Студент.

Сначала
все было просто:
день сменила ночь,
и только
заря чересчур разнебесилась ало.
Потом —
законы,
понятия,
веры,
гранитные кучи столиц
и самого солнца недвижная рыжина —
все стало как будто немного текуче,
ползуче немного,
немного разжижено.
Потом как прольется!
Уливы лью ся,
растопленный дом низвергается на дом.
Весь мир,
в доменных печах революций расплавленный,
льется сплошным водопадом...

Голос китайца.

Господа, внимание!
Сюда моросят.

Жена австралийца.

Хорошенькое моросят!
Измочило, как поросят.

Перс.

Может, конец мира близок,
а мы
митингуем, орем и ржем.

Итальянец (*жметя к полюсу*).

Становитесь сюда!

Теснее!

Здесь не закапает.

Купец (*иддавая коленкой зажимающего дыру с присущим этому народу терпением эскимоса*).

Эй, ты!

Пошел к моржам!

Охотник-эскимос отлетает, и из открытой дыры забила в присутствующих струя. Веером рассыпались чистые, нечленораздельно оря.

И-и-и-и-и!

У-у-у-у-у!

А-а-а-а-а!

Через минуту все бросаются к струе.

Забить!

Заткнуть!

Зажать!

Отхлынули. Только австралиец остался у земного шара с пальцем в дыре. В общем переполохе взгромоздился на пару поленьев поп.

П о п.

Братие!

Лишаемся последнего вершка.

Последний дюйм заливают водой.

Голоса нечистых (*тихо*).

Кто это?

Кто этот шкаф с бородой?

Поп.

Сне на сорок ночей и на сорок дён...

Купец.

Правильно!

Господь надоумил умно его!

Студент.

В истории был подобный прецедент.

Вспомните знаменитое приключение Ноево.

Купец (*водворяясь на место попа*).

Это глупости —

и история, и прецедент, и вообще...

Голоса.

Ближе к делу!

Купец.

Давайте, братцы, построим копчег!

Жена австралийца.

Правильно! Ковчег!

Студент.

Вот охота!

Пароход построим!

Раджа.

Два парохода.

Купец.

Правильно!

Весь капитал вложу!

Те спаслись, а мы умнее тех, никак.

Общий гул.

Да здравствует,
да здравствует техника!

Купец.

Подымите руки —
кто за.

Общий гул.

И рук не надо.
Видно за-глаза.

И чистые и нечистые поднимают руки.

Француз (*занявший место купца,
со злобой осматривает кузнеца,
поднявшего руку*).

И ты туда же?
Да и не тщишься ты!
Господа,
давайте не возьмем нечистых!
Будут знать, как нас ругать.

Голос плотника.

А ты умеешь пилить и строгать?

Француз (*поникая*).

Я передумал.
Возьмем нечистых.

Купец.

Только отберем непьющих и плечистых.

Немец (*влезая на место француза*).

Тсс! Господа,
может быть, еще и не придется мириться с
нечистыми.

К счастью,
мы не знаем, что с пятой частью света.
Галдите, и даже не побеспокоились узнать,
есть меж нами американцы ли.

Купец (*радостно*).

Ну и голова!
Не человек, а германский канцлер.

Радость прорезает крик австралийки.

Что это?

Прямо из зала к напряженно взглядывающимся вры-
вается американец.

Американец.

Милостивые государи,
где здесь строят ковчег?
Вот

(*протягивает бумагу*)

от утопшей Америки
на двести миллиардов чек.

Молчаливое уныние. И вдруг вопль зажимающего воду
австралийца.

Чего разглазелись? Будет пялиться!
Ей-богу, выну!
Коченеют пальцы...

Чистые засустились. Заискивающе трутся к нечистым.

Француз (*кузнецу*).

Ну что ж, товарищи,
построим,
а?

Незловивый кузнец.

А мне што!

По мне хоть...

(Машет рукой нечистым.)

Айда, товарищи!

Ехать, так ехать!

Нечистые поднимаются. Пилы, рубанки, молотки.

ЗАНАВЕС.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Палуба ковчега. По всем направлениям панорама рушащихся в волны земель. В низкие облака упирается запутанная веревками лестниц мачта. В стороне рубка и вход в трюм. Чистые и нечистые выстроились по близкому борту.

Батрак.

И-да!

Не хотел бы я нынче за борт.

Швея.

Глянь-ка туда:
не волна, а забор!

Купец.

Зря я это с вами спутался.

Всегда вот так,
без толка.

Мореплаватели тоже!

Нашли морского волка.

Фонарщик.

Ишь, поднесла!
Гудит и стенает.

Швея.

Какой там забор!
Закрыло стеною.

Француз.

Да-с.
Очень глупо-с!
Говорю вам с прискорбием и болью-с.
Сидели бы.
Земля еще держится.
Какой ни на есть, а все-таки полюс.

Батрак.

Что волки твои,
волнищами ляскают.

Оба эскимоса, шофер и австралийцы — сразу.

Глядите,
что это?
Что с Аляскою?

Негус.

Ну и метнулась!
Что камень пращей.

Немец.

Ухнулась!

Охотник.

Нет ее?

Рыбак.

Нет.

Все.

Прощай! Прощай! Прощай!

Француз (*расплакался, придавленный воспоминаниями*).

Боже мой!..

Боже мой!..

Бывало,

всей семьей

соберемся у чайного столика —

плюшки,

икорка.

Булочник (*отмеряя кончик ногтя*).

Чудно, ей-богу!

Ну, не жаль вот

ни столько.

Сапожник.

Я водчонки припас.

Найдется рюмка?

Слуга.

Найдется.

Рудокоп.

Ребята,

идемте в трюм-ка!

Охотник.

Ну, как морженок?

Не очень поджарый ли?

Слуга.

Ничего не поджарый,

славно поджарили.

Чистые одни. Нечистые спускаются в трюм, подпевая.

Что терять нам? Испугаться нам погопа ли?
Разустали ножки — по свету потопали.
Эх, и отдых в пароходах!
Эх!

И морженка съесть и водочки хлебнуть не грех.
Эх, не грех!

Чистые окружили расхныкавшегося француза.

Перс.

Стыдно, право!
Бросьте орать-то!

Купец.

Перебьемся как-нибудь,
доползем до Арарата.

Негус.

С голодудохнешь, пока гора-то.
(Прислушивается к шуму в трюме.)

Поп.

Ишь, ржут!

Студент.

Чего им?
Наловили рыбы и жрут.

Поп.

Возьмем сеть или острогу и тоже давайте ловить.

Немец.

О-с-т-р-о-г-у?
А как обращаться ею?
Я только шпагой в человеке ковырять умею.

Купец.

Я закинул сеть,
думал — рыбину выну,
умаялся,
и ничего —
одну травину.

Паша (сокрушенно).

До чего доросли:
первой гильдии — и жрут водоросли.

Итальянец (*многозначительно подымает
палец*).

Эврика!

(Немцу.)

Послушайте!

Чего это мы так тогда?

Что это нас так задело?

У нас теперь общий враг.

(*Указывает на трюм. Берет под-руку и отво-
дит, на ходу говоря.*)

У меня к вам вот что за дело...

Пошептавшись, возвращаются.

Немец (*держит речь*).

Господа!

Мы все такие чистые.

Нам проливать за работой пот ли?

Давайте заставим нечистых, чтоб они на нас
работали.

Студент.

Я бы их заставил!

Да куда мне —
чахл!

А из них любой — косая в плечах.

Итальянец.

Боже сохрани драться!
Не драться,
а пока выжирают меня,
пока восседают,
пия и оря,
возьмем и подложим им свинью...

Немец.

Выберем им царя!

Все (*удивленно*).

Зачем царя?

Немец.

А затем, что царь издаст манифест—
все кушанья мне, мол, должны быть отданы.
Царь ест,
и мы едим—
его верноподданные.

Все.

Здорово!

Паша.

Ловко!

Купец (*радостно*).

Я же говорил вам—
Бисмарочья головка!

Австралийцы.

Выбираем скорей!

Несколько голосов.

Но кого?
Кого же?

Итальянец и француз.

Негуса.

Поп.

Правильно!

Ему и в руки вожжи.

Купец.

Какие вожжи?

Немец.

Ну, как их там...

Бразды правления, что ли...

Чего придираетесь?

Смысл один.

(Негусу.)

Взлазьте, господин.

(Французу, паше и студенту.)

Вы строчите манифест:

с божьей, мол, милости...

а мы — сюда,

чтоб не успели вылезти.

Паша и прочие строчат манифест. Немец с итальянцем разматывают перед выходом из трюма канат. Пошатываясь, вылазят нечистые. Когда последний выполз на палубу, итальянец и немец меняются местами — и нечистые опутаны.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Немец (сапожнику).

Эй,

ты!

Ступай под присягу!

Сапожник (плохо разбираясь в событиях)

Можно, я лучше прилягу?

Итальянец.

Я тебе прилягу —
не встанешь сто лет!
Господин поручик,
наводите пистолет!

Француз.

Ага!
Протрезвели!
Вот так оно проще.

Некоторые нечистые (*грустно*).

Попались, братцы.
Как куры во щи,

Австралиец.

Шапки долой!
У кого там шапка?

Китаец и раджа (*подталкивают попа, стоящего под рубкой, возглавляемой негусом*).

Читай же,
читай, стоят не дыша пока!

Поп (*по бумаге*).

Божьей милостью
мы,
царь изжаренных нечистыми кур
и великий князь на оных же яйца,
не сдирая ни с кого семь шкур, —
шесть сдираем, седьмая оставляется, —
объявляем нашим верноподданным:
волоките всё —
рыбу, хлеб, овощ, свинят
и чего найдется съестного прочего.

Правительствующий сенат
не замедлит
разобраться в грудях добра,
отобрать и нас попотчевать.

Импровизированный сенат из паши и раджи.
Слушаемся, ваше величество!

П а ш а (*распоряжается*).
(*Австралийцу.*)

Вы — в каюты!

(*Австралийке.*)

Вы — в кладовые!

(*Общее.*)

Чтоб нечистый ничего дорогой не выел.

(*Купцу, отматывая для него булочник.*)

Вы вот с ним спускайтесь в трюм.

Я с раджою на палубе все просмотрю.

(*Общее.*)

Притащите сюда и возвращайтесь снова.

Радостный гул чистых.

Навалим целую гору съестного!

П о п (*потирая руки*).

А после братски поделимся добычею
по христианскому обычаю.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Конвоируемые офицерами, нечистые понуро спускаются в трюм, за ними — чистые, кроме сената обшаривающего палубу. Первым возвращается австралиец. На огромном блюде морженок. Складывает перед пегусом — и обратно в трюм.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Китаец с австралийкой
(конвоируя булочника).

Этот бьет челом куличом.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Студент (с плотником).

Сельдь у него.

Объедена наполовину

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Купец (с шофером).

Вот этот в хранении колбасы уличен.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Поп (со швеей и прачкой).

Сахар.

Чуть не изо рта у них вынул.

ЯВЛЕНИЯ СЕДЬМОЕ, ВОСЬМОЕ И ДЕВЯТОЕ

Француз возвращается, как и все. Перс деловито приносит бутылъ — и обратно. Сенат притащил связку баранок и юркнул в трюм. Минуту на сцене один негус, сосредоточенно уплетающий принесенное. Затем, усталые, вылезают чистые и, завалив люк, направляются к трону, хвастаясь.

Француз.

Я ростбиф нашел —
и целый кус!

Китаец.

Занятно знать, каков он на вкус.

Австралиец.

Морженок попался —
румян, сочен.

Раджа.

Проголодались?

Француз.

Еще бы!

(Попу.)

Вы тоже?

Поп.

Очень!

Взбираются к негусу. Перед негусом пустое блюдо. В один
грозный голос.

Что здесь?

Гуляла мамеева рать?!

Поп (в исступлении).

Один ведь,

один —

и чтоб столько сожрать!

Паша.

Взял бы да и грохнул по сытой роже.

Негус.

Молчать!

Я помазанник божий.

Немец.

Помазанник!

Помазанник!

Лег бы, как мы...

Итальянец.

На голодный желудок.

Поп.

Иуда!

Раджа.

ТЬфу!

Не об этаким думал дне я.

Купец.

Ляжем.

Утро вечера мудренее.

Укладываются. Ночь. По небу быстро проходит луна. Луна склоняется. Рассвет. В синем утре приподымается фигура итальянца, с другой стороны приподымается немец.

Итальянец.

Вы спите?

Немец отрицательно качает головой.

Итальянец.

Проснулись в эту пору?

Немец.

Уснешь тут!

В животе такой разговорище.

Ну, поговори, поговори еще!

Купец (вмешиваясь).

Всё котлеты снятся.

Поп *(издали)*.

А что ж еще могло сниться!

(Негусу.)

Ишь, проклятый! Так и лоснится.

Австралиец.

Холодно.

Да и ночь мокра-то.

Француз *(после короткой паузы)*.

Гсспода,
знаете, что?..

Я чувствую, что я становлюсь демократом.

Немец.

Вот новость!

Я всегда народ любил без памяти.

Перс *(ехидно)*.

А кто предлагал его величеству к стопам
итти?

Итальянец.

Бросьте ваши ядовитые стрелы.

Самодержавие, как форма правления,
несомненно устарело.

Купец.

Устареет, если ни росинки не попало в рот.

Немец.

Серьезно! Серьезно!

Назревает переворот.

Довольно распрь,
покончим с бранью!

В один голос.

Ура!

Ура Учредительному собранию!

(Отваливают люк.)

Ура! У-р-а!

(Друг другу.)

Наяривайте!

Жмите!

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Из люка лезут разбуженные нечистые.

Сапожник.

Что это? Перепились?

Кузнец.

Авария?

Купец.

Граждане, пожалте на митинг!

(Булочнику.)

Гражданин, вы за республику?

Нечистые *(хором)*.

Митинг? Республику? Какую такую?

Француз.

Стойте!

Сейчас интеллигенция растолкует.

(Студенту.)

Эй, вы, интеллигенция!

„Интеллигенция“ и француз влазят на рубку.

Француз.

Объявляю собрание открытым.

(Студенту.)

Ваше слово.

Студент.

Граждане!

У этого царищи невозможный рот!

Голоса.

Правильно!

Правильно, гражданин оратор!

Студент.

Всё, проклятый, как есть сожрет!

Голос.

Правильно!

Студент.

И никто никогда не доползет до Арарата.

Голоса.

Правильно!

Правильно!

Студент.

Довольно!

Рвите цепи ржавые!

Общий гул.

Долой,
долой самодержавие!

Купец (*негусу*).

Попили кровушки,
нагадили народу...

Француз (*негусу*).

Эй, ты,
алон занфан в воду!

Общими усилиями раскачивают негуса и швыряют за борт.
Затем чистые берут под-руки нечистых и расходятся,напевая.

Итальянец (*рудокопу*).

Товарищи!
Вы даже не поверите.
Я так безумно рад:
нет теперь этих вековых преград.

Француз (*кузнецу*).

Поздравляю вас!
Рухнули вековые устои.

Кузнец (*неопределенно*).

М-да!

Француз.

Остальное устроится,
остальное — пустое.

Поп (*швге*).

Теперь мы — за вас, вы — за нас.

Купец (*довольный*).

Так, так! Води за нос.

Француз (на рубке).

Ну, граждане, довольно,
погуляли всласть.

Давайте организуем демократическую власть.

Граждане,

чтобы все это было скоро и быстро,

мы вот, — упокой, господи, душу негуса, — мы
вот тринадцать

будем министры и помощники министров,

а вы — граждане демократической республики —

вы будете ловить моржей, шить сапоги,

печь бублики.

Возражений нет?

Принимаются доводы?

Батрак.

Ладно!

Было бы недалеко до воды!

Хором.

Да здравствует! Да здравствует демократическая
республика!

Француз.

А теперь я

(нечистым)

вам предлагаю работать.

(Чистым.)

А мы — за перья.

Работайте,

несите сюда,

а мы это всё поделим поровну, —

последняя рубашка пополам будет порвана.

ЯВЛЕНИЯ ОДИННАДЦАТОЕ И ДВЕНАДЦАТОЕ

Чистые устанавливают стол, располагаются с бумагами, и когда нечистые приносят съестное, записывают во входящие и по уходе с аппетитом съедают. Булочник, пришедший во второй раз, пытается заглянуть под бумаги.

Чего глазеешь?

Отойди от бумаг!

Это, брат, дело не твоего ума.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Кузнец и рыболов.

Давайте делиться обещанным.

Поп *(возмущенно)*.

Братие!

Рановато еще о пище нам.

Раджа *(отводя их от стола)*.

Там акулу поймали.

Присмотритесь к акуле —

не несет яиц, не приспособлена к молоку ли.

Кузнец *(угрожая)*.

Все равно, раджа, паша ли вы,

как говорится у турок:

„Эй, паша, не пошаливай!“

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Уходит и через минуту возвращается вкупе с прочими нечистыми; подходят к столу.

Кузнец.

Учат!

Сколько ни дои акул —

не быть из акулы молоку.

Сапожник (*пишущим*).

Пора обедать!
Скорей кончай-ка!

Итальянец.

Обратите внимание,
как это красиво:
волны и чайка.

Батрак.

Поговорим-ка лучше о шах и о чае.

Все.

К делу!
К делу!
Нам не до чаек.

Напирая, опрокидывают стол. На палубу грохаются пустые тарелки.

Швея и прачка (*грустчо*).

Все совет министерский вылакал.

Плотник (*вскакивая на опрокинутый стул*).

Товарищи!
Это нож в спину!

Голоса.

И вилка!

Рудокоп.

Товарищи!
Что ж это?

Раньше жрал один рот, а теперь обжирают
ротой?

Республика-то оказалась тот же царь, да только
сторотый.

Француз (*ковыряя в зубах*).

Чего кипятитесь?

Обещали и делим поровну:

одному бублик, другому дырка от бублика —
это и есть демократическая республика.

Купец.

Надо же ж кому-нибудь и семечки — не всем
арбуз.

Нечистые.

Мы вам покажем классовую борьбу!

Немец.

Стойте, граждане!

Наша политика...

Нечистые.

А ну,

с четырех концов подпалите-ка!

Покажем им, какая такая политика!

Держись,

запахнет гарью.

Подпалим революцией,

что твою Болгарию.

Вооружаются сложенным чистыми во время обеда оружием,
загоняют чистых на корму. Мелькают пятки сбрасываемых
чистых. Только купец забился в угольный ящик.

Мадам-истерика (*все время путающаяся
под ногами, заломила руки*).

И опять и опять разрушается кров,

и опять и опять смятение и гул...

Довольно!

Довольно!

Не лейте кровь!

Послушайте, я не могу!

Батрак.

Ишь, проклятая!
Распустила слюнки!
Революция вам, мадам, не юнкер.
(*Вежливо берет ее. Дама вцепляется в руку.*)
Ишь, злюка!

Кузнец.

Вали ее, ребята, в дырку люка!

Трубочист.

Не задохлась бы тама —
все-таки дама.

Батрак.

Что мямлить?
Вернутся — нас же распнут на кресте.

Нечистые.

Правильно!
Правильно!
Или мы — или те!

Кузнец.

Товарищи!
Сапогами отшвыривайте кликуш.
Эй, народ, чего не ликуешь?
Ликуй!

Но суровы голоса нечистых — последние запасы съела
республика.

Булочник

Ликуй!
А велико ли хлеба запасено?

Швея.

Ликуй! Когда мысли только о хлебе.

Фонарщик.

Ликуй! Если всюду одни только хляби.

Трубочист.

Ликуй! Когда ни крошки не осталось на корме.

Несколько — сразу.

„Ликуй“ кричишь!

Ты нас накорми.

Мы голодны.

Мы устали.

Не пройдешь шагов и ста.

Батрак.

Голодны? Устали?

Разве бывает усталъ у стали?

Прачка.

Мы не сталь.

Кузнец.

Так будемте сталь.

Не останавливаться на половине ж.

Съеденное в утопших,
назад не вынешь.

Теперь об одном осталось ратовать,
чтоб сила не иссякла до места Араратова.

Пусть нас бури бьют,

пусть изжарит жара,

голод пусть —

посмотрим в глаза его,

будем пену одну морскую жрать.

Мы зато здесь всего хозяева!

Х о р о м.

Правильно!

Идем себя закалять!

Спускается та же ночь. Кузнец раздувает горн. Быстро бежит луна.

Ку з н е ц.

Идите же!

Работы не было наваленней.

Никогда сильнее не требовалось починок.

Собственные груди ставьте на наковальни.

Эй! Кто для почина?

Б а т р а к.

Мне надо новые поставить подковы.

П л о т н и к.

Руку подправьте — не очень узловата.

Р ы б а к.

Мне надо на грудь чего-нибудь такого.

Ф о н а р щ и к.

Ноги подделайте, а то — вата.

Подходят один за другим, работает кузнец. Стальные и выправленные идут от горна, рассаживаются по палубе.

Утро. Холодно и голод.

Ш о ф е р.

Без еды — все равно что машина без дров.

Р у д о к о п.

Даже я сдаю, уж на что здоров.

О х о т н и к.

Слабеет от голода за мускулом мускул.

Ш в е я (*прислушиваясь*).

Слушайте,
что это?
Слышите музыку?

От нее отсаживаются, смотрят испуганно. Некоторые
падают в трюм. Но не разумнее и голос плотника.

П л о т н и к.

Антихрист речь повел нам
об Арарате и рае.

(Испуганно вскакивает, пальцем за борт.)

Кто там
идет по волнам,
в кости свои играет?

Т р у б о ч и с т.

Брось ты!
Море голо.
Да и кому являться?

С а п о ж н и к.

Вон он!
Идет!
Это голод
нами идет разговляться!

Б а т р а к.

Что ж, иди!
Нет здесь таких, кто упал бы.
Товарищи, враг у борта!
Живо!
Все на палубы!
Голод
сам идет на абордаж.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Выбегают, шатаясь, вооруженные чем попало. Рассвело.
Пауза.

Все.

Что ж, иди!

Никого...

И вот

снова будем смотреть бесплодное лоно вод.

Охотник.

Так вот молишь о тени в печах пустыни,
умирая ж —

видишь, будто пустыня стынет.

Мираж!

*Шофер (приходит в страшное волнение,
поправляет очки, всматривается.*

Кузнецу):

Там вот,

на западе —

не заметишь ли точки?

Кузнец.

Что глядеть?

Все равно что на хвост надеть или в ступе исто-
лочь очки.

*Шофер (отбегает, шарит, лезет с трубой
на рею — и через минуту его рвущийся
от радости голос).*

Арарат! Арарат! Арарат!

Со всех концов.

О, как я рада!

О, как я рад!

Вырывают у шофера трубку. Сгрудились.

Плотник.

Где он? Где?

Кузнец.

Да вот виднеется
направо от...

Плотник.

Что это?
Приподнялось.
Выпрямилось.
Идет.

Шофер.

То есть как — идет?
Арагат — гора и ходить не может.
Глаза потри.

Плотник.

Сам три
Смотри!

Шофер.

Да, идет.
Человек какой-то.
Да, человек.
Старый с посохом.
Молодой без посоха.
Эк,
идет по воде, что по-суху!

Швея.

Колокола, гудите!
Вздыбливайте звон!
Бросайте работу!

Останавливайте заводы!
Это он!
Он шел, рассекая геннисаретские воды!

Кузнец.

У бога есть яблоки,
апельсины,
вишни,
может весны стлать семь раз на дню,
а к нам только задом оборачивался всевышний,
теперь Христом залавливает в западню.

Батрак.

Не надо его!
Не пустим проходимца!
Не для молитв у голодных рты.
Ни с места!
А то рука подымется.
Эй,
кто ты?

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Самый обыкновенный человек входит на замершую палубу.

Кто я?
Я — дровосек
дремучего леса
мыслей,
извитых лианами книжников,
душ человеческих искусный слесарь,
каменотес сердец булыжников.
Я в воде не тону,
не горю в огне —
бунта вечного дух непреклонный.
В ваши мускулы
я

себя одеть
пришел.
Готовьте тела-колонны.
Сгрудьте верстаки, станки и горны.
Влезу на станки и на горны я.

Сбивают груды.

Эта ставка
последняя у мира в игорне.
Слушайте!
Новая проповедь нагорная.
Еще грома себя не изгрохали,
горы бурь еще не отухали.
О, горе тем, кто вцепились — рохли! —
земным ковчегом в плывущую рухлядь!
Араратов ждете?
Араратов нету.
Никаких.
Приснились во сне.
А если
гора не идет к Магомету,
то и чорт с ней!
Не о рае христовом ору я вам,
где постнички лижут чай без сахару.
Я о настоящих земных небесах ору.
Судите сами: христово небо ль,
евангелистов голодное небо ли?
В раю моем залы ломит мебель,
услуг электрических покой фешенебелен.
Там сладкий труд не мозолит руки,
работа розой цветет по ладони.
Там солнце такие строит трюки,
что каждый шаг в цветомории тонет.
Здесь век корпит огородника опыт —
стеклянный настил, навозная насыпь,

а у меня
на корнях укропа
шесть раз в году росли ананасы б.

Все (хорошо).

Мы все пойдем!
Чего нам терять!
Но пустят ли нашу грешную рать?

Человек.

Мой рай для всех,
кроме нищих духом,
от постов великих вспухших с луну.
Легче верблюду пролезть сквозь иголье ухо,
чем ко мне такому слону.
Ко мне —
кто всадил спокойно нож
и пошел от вражьего тела с песнею!
Иди, непростивший!
Ты первый вхож
в царствие мое небесное.
Иди, любовьюми всевозможными разметавшийся
прелюбодей,
у которого по жилам бунта бес снует, —
тебе, неустанный в твоей люботе,
царствие мое небесное.
Идите все, кто не вьючный мул.
Всякий, кому нестерпимо и тесно,
знай:
ему —
царствие мое небесное.

Хором.

Не смеется ли этот над нищими?
Где они?
Дразнишь какими страницами?

Человек.

Длинна дорога.

Надо сквозь тучи нам.

Хором.

Каждую тучу сразим пшстучно!

Человек.

А если ад взгромоздится за адом?

Хором.

Пойдем и туда!

Не попятимся задом.

Веди нас!

Где она?

Человек.

Где?

На пророков перестаньте пялить око,
взорвите все, что чтили и чтут.

И она, обетованная, окажется под боком —
вот тут!

Конец.

Слово за вами. Я нем.

Исчезает. На палубе недоумение.

Сапожник.

Где он?

Кузнец.

По-моему, он во мне.

Батрак.

Думаю, заблагорассудилось и в меня ему...

Несколько.

Кто он?

Кто этот дух неменяемый?

Кто он
без имени?
Кто он
без отчества?
Зачем он?
Какие кинул пророчества?
Кругом потопа смертельная ванная.
Пускай!
Найдется обетованная!

Кузнец.

Зловещ пучин разверзшийся рот.

(Рукой на реп.)

Дорога одна: сквозь тучи — вперед!

(Бросаются к мачте. Хором.)

Сквозь небо — вперед!

Вскарабкиваются, и уже на реях разворачивается
боевая песнь.

Батрак.

Мы сами теперь громоногая проповедь.
Идемте силы в сражении пробовать!

Хор.

Идем,
идем последнее пробовать!

Сапожник.

Там всем победителям отдых за боем.
Пусть ноги устали, их в небо обуем!

Хор.

Обуем!
Кровавые в небо обуем!

Плотник.

Распахнута твердь,
небесам за ограду!
По солнечным трапам,
по лестницам радуг!

Хор.

По солнечным сходням,
качелями радуг!

Рыбак.

Довольно пророков!
Мы все Назареи!
Скользите на мачты,
хватайтесь за реи!

Хор.

На мачты!
На мачты!
За реи!
За реи!

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

„За реи!“—замирает в облаках. Когда скрывается последний, из угольного ящика, осматриваясь, пролазит купец, задирает голову, качает головой на мачту и, посмеиваясь, говорит.

Надо же ж быть ослом!

(Обводит рукой ковчег.)

Добра на четыреста тысяч
минимум.
Даже если на слом.

Но недолговечна купцова радость, — задранная голова перетянула, купец кувырывается за борт.

ЗАНАВЕС.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Ад. В три яруса протянуты дымно-желтые тучи. На верхнем ярусе надпись: „Чистилище“, на среднем: „Ад“; на нижнем, свесив ноги, восседают два чорта.

Первый.

Два слова по поводу пищи:
трудно нам без попов в аду,
а из России, как на грех, гонят попишей.

Второй (*вглядываясь вниз*),
Что это маячит там?

Первый.

Мачта.

Второй.

Зачем мачта? Какая мачта?

Первый.

Пароход какой-то.

Да, корабли!

Кают огни.

Жизнь недорога!

Смотри, по тучам тела карабкают,
сами лезут чорту на рога.

Второй.

Старик-то наш

обрадуется до-нельзя.

(*Огрызается на первого.*)

Тише ты, чорт,

нельзя чтоб без гула!

Беги, предупреди штаб

Вельзевула.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Первый бежит. Над средним ярусом показывается Вельзевул. Ладонь ко лбу.

Над ярусом приподымаются черти.

Вельзевул (*убедившись, орет*).

Эй, вы,
черти!

Волоките котелище!

Да дров побольше —

суше,

толще!

Прячься за тучи, батальон строгий!

Чтоб никто из тех не ушел с дороги!

ЯВЛЕНИЯ ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ

Черти притаились. Снизу доносится: „На мачты, на мачты! За рей, за рей!“ Вваливается толпа нечистых, и моментально же вываливаются черти с вилами наперевес.

Черти.

У-у-у-у-у-у!

А-а-а-а-а-а!

Кузнец (*указывая на крайних, шве со смехом*).

Как тебе нравятся эти трое?

Ишь, стараются!

Зсмлю роют.

Гвалт начал надоедать.

Цыкнули нечистые.

Т-с-с-с-с-с!

Смолкли растерявшиеся черти.

Нечистые.

Это ад?

Черти (*нерешительно*).

Д-да!

Батрак (*на чистилище*).

Товарищи!

Не останавливаться!

Прямо туда!

Вельзевул.

Да-да!

Черти, вперед!

Не пускать в чистилище!

Батрак.

Послушайте —

это что за стиль еще?

Кузнец.

Бросьте вы это!

Вельзевул (*обиженно*).

То есть как бросить?!

Кузнец.

Да так.

Стыдно!

Все-таки старый чорт,

у самого прседь.

Нашли, ей-богу, чем стращать!

На заводе

чугуноплавильном

не бывали, чать?

Вельзевул *(сухо)*.

Не был я на вашей плавильне.

Кузнец.

То-то!

А то б повылинял
шорсткой.

Живешь себе тут
щеголем,
гладкий такой да жесткий.

Вельзевул.

Хорош гладкий,

Хорош жесткий!

Довольно разговаривать! Пожалте на костры!

Булочник.

Остри!

Нашел чем пугать!

Смешно, ей-богу!

Да у нас

в Питере

взм бы еще заплатили

за такую голозню.

Холод.

А у вас благодать.

Сплошное ню.

Вельзевул.

Довольно шутить!

Трепещите за души!

Всех вас серой сейчас же задушим!

Кузнец *(сердась)*.

Хвастают тоже!

Что у вас? —

Слегка попахивает серою.

У нас как пустят удушливым газом —
вся степь от шинелей становится серою,
дивизия разом валится наземь.

Вельзевул.

Побойтесь, говорю вам, раскаленных жаровен!
На вилах будете,
час неровен.

Батрак (*выходя из себя*).

Да что ты кичишься какими-то вилами!
Твой глупый ад — все равно что мёд нам.
Бывало,
в атаке
три четверти выломит
в одно дуновение огнем пулеметным.

Черти развесили уши.

Вельзевул (*старается поддержать дисциплину*).

Чего стоите?
Разинули рот!
Может, он все это врет!

Батрак (*зверая*).

Я вру?
Сидите тут,
пещеры пещерите!
Черти,
слушайте!
Я вам расскажу...

Черти.

Тише!

Б а т р а к.

... про нашу земную жуть.

Что ваш Вельзевул!

У нас паук такой

клещами тыщами

всю землю сжал в обескровленный пук,

рельс паутиною выщемил.

У вас хоть праведников нет и детей, —

рука, небось, не подымается мучить, —

а у нас и те!

Нет, черти,

у вас здесь лучше.

Как какой-нибудь некультурный турок,

грешника с размаха саданете на кол,

а у нас машины,

а у нас культура...

Г о л о с *(из толпы чертсй)*.

Однако!

Б а т р а к.

Человечину жрете?

Невкусное сырье!

Я б к Сиу вас свел, каб не было поздно.

У нас в шоколад перегоняют ее.

Г о л о с *(из толпы чертей)*.

Но?

Серьезно?

Б а т р а к.

А негров видели дубленые кожи, —

на переплеты чтоб мог итти?

В ухо гвоздь?

Пожалуйста, отчего же!

А шерсть свиную хотите под ногти?
Посмотрели солдата в окопе вы бы:
сравнить если с ним — ваш мученик сноб...

Черти.

Довольно!
Шерсть подымается дыбом!
Довольно! довольно!
Такой озноб!

Батрак.

Думаете, страшно?
Развели костерики,
развесили чанки.
Какие вы черти?
Да вы щенки!
Ремни вас на фабриках растягивали по суставам?

Вельзевул (*смущенно*).

Ну, вот!
В чужой монастырь со своим уставом.

Батрак.

Что,
только на робких пасти щерите?

Черти.

Ну что вы, ей-богу, пристали?
Черти, как черти!

Вельзевул идет к батраку заминать разговор.

Вельзевул.

Я б вас пригласил хлеб-соль откусать
в гости,
да какое теперь угощение —
кожа да кости.

Сами знаете, какие теперь люди?
Изжаришь, так его и незаметно на блюде.
Нет этих мешочников в ризе.
Сами понимаете — продовольственный кризис.
Притащили на-днях рабочего
из выгребных ям,
так не поверите — нечем потчевать.

Б а т р а к (брезгливо).

Пошел ж чертям!

(К давно уже нетерпеливо ждущим рабочим.)

Айда, товарищи!

Нечистые двинулись; к последнему прицепился чорт по-
моложе.

Ч о р т.

Счастливого пути!

Устраивайтесь как-нибудь по-новому,
без лишней святости,

а то какая там, например, троица?

И мы к вам придем, когда все устроится.

Сидишь тут

не евши

дней по пяти,

а у чертей,

известно,

чертовский аппетит.

Нечистые двинулись ввысь. Ломаемые, падают тучи. Тьма.
Из тьмы и обломков опустевшей сцены вырисовывается
следующая картина, а пока по аду гремит песня нечистых.

Ку з н е ц.

Телами адовы двери пробейте!

Чистилище в клочья!

Вперед!
Не робейте!

Хор.

Чистилище вдребезги!
Так!
Не робейте!

Рудокон.

Вперед!
От отдыха тело отучим!
По ярусам
выше!
Шагайте по тучам!

Хор.

Шагайте по ярусам!
Выше!
По тучам!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КАРТИНЫ

КАРТИНА ВТОРАЯ

Рай. Облако на облаке. Белесо. По самой середине, чинно
рассевшись по облачью, райские жители. Мафусаил ора-
торствует.

Мафусаил.

Святейшие!
Идите в светлейшее мощи оправить,
почище начистьте дни-ка.
Глаголет Гавриил —
грядет
больше чем дюжина праведников.
Святейшие!
Примите их в свою среду.

Что мышью, голод играет ими,
им гадит ад,
но они бредут...

Р а й с к и е *(степенно)*.

Сразу видно — достойнейшие люди.

Примем.

Обязательно примем.

М а ф у с а и л.

Надо стол накрыть,

выйти вместе.

Торжественнейшую встречу устроить надо нам.

Р а й с к и е.

Вы здесь старейший и будьте церемониймейстер.

М а ф у с а и л.

Да я не умею...

В с е.

Ладно, ладно!

М а ф у с а и л *(кланяется, идет распоряжаться
столом. Выстраивает святых)*.

Вот сюда Златоуст.

Готовь приветственный тост:

— Мы, мол, все приветствуем, а также и
Христос...

Сам знаешь, тебе и книги в руки.

Вот сюда Толстой, —

у тебя вид хороший, декоративный,
стал и стой.

Сюда — Жан-Жак.

Так и разворачивайтесь анфиладою,
а я пойду стол присмотреть.
Доишь облака, сын мой?

Ангел.

Да, дою.

Мафусаил.

Надоишь — и на стол.
Нарежьте даже
облачко одно,
каждому по ломтику.
Для отцов святейших главное не еда же,
а речи душеспасительные, которые за столом
текут.

Святые.

Ну что,
не видно пока?
Чгой-то край у облака подозрительно дут.
Идут! Идут! Идут! Идут!
Неужели это они?
В рай, а будто трубочисты грязные.
Вымоем.
М-да, святые-то, оказывается, разные.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Снизу доносится:

Орите в ружья!
В пушки басите!
Мы сами себе и Христос и спаситель!
Мы сами Христос!
Мы сами спаситель!

Вваливаются, пробивая облако пола, нечистые.

Хором.

Ух, и бородастые!
Штук под триста!

Мафусаил.

Пожалте, пожалте —
тихая пристань!

Ангельский голос.

Понапустили народу шалого!

Ангелы.

Драсите, драсите!
Добро пожаловать!

Мафусаил.

А ну-ка, Златоуст, займись-ка тостом!

Нечистые.

Какие там тосты!
Мы устали.
Как собаки, голодны!

Мафусаил.

Терпение, братие!
Сейчас,
сейчас накормим досыта.

Мафусаил ведет нечистых к месту, где на облачном столе
облачное молоко и облачный хлеб.

Плотник.

Нашагался.
Нельзя ли какой-нибудь стул?

Мафусаил.

Нет-с,
в раю нет.

Плотник.

Чудотворца б пожалели —
стоит вон сутол.

Рудокоп.

Не ругайся.

Главное — подкрепление сил.

Набрасываются на ковши и краюхи, сначала удивляются,
потом, негодуя, откидывают бутафорию.

Мафусайл.

Вкусили?

Кузнец *(грозно)*.

Вкусил, вкусил!

А нет чего посущественней?

Мафусайл.

Не купать же бестелых существ в вине?

Нечистые.

Ждем вас, проклятых,
смирненно умираем мы.

Кабы люди знали, что это впереди!

У нас у самих
такими раями
хоть пруд пруди.

Мафусайл *(указывая на святого,
к которому орал кузнец)*.

Не орите, неудобно.

Ангельский чин

Рыбак.

Поговорили бы лучше с чином:
не сварит ли чин ваш щи нам.

Голоса нечистых.
Не так мы себе это представляли.

Охотник.

Нора!
Сущая нора!

Шофер.

И не похоже на рай.

Сапожник.

Так, голубчики,
дорвались до рая!

Слуга.

Ну, доложу вам, дыра, я!

Батрак.

Что ж, вы так вот и сидите?

Один из ангелов.

Зачем?

Случается и на землю
к праведному брату или сестре пойти,
и возвращаемся, елей свой излив там.

Слуга.

Так вот перышки по тучам и трепите?!
Чудаки!
Обзавелись бы лифтом.

Второй ангел.

А мы метки на облаках вышиваем, —
Х. и В. —
Христовы инициалы.

Слуга.

Вы б еще подсолнухи грызли.
Провинциалы!

Батрак.

Побывали б у меня на земле они,
отучил бы лодырей от лени!

Поют вот:

„Долой тиранов, прочь оковы“.

И до вас доберутся,
не смотрите, что высоко вы.

Швея.

Совсем как в Питере:
население скучено,
еда скушана.

Нечистые.

Скучно у вас.
Ох, и скушно!

Мафусаил.

Что поделаешь, такой уж строй у нас.
Оно, конечно,
многое не благоустроено-с.

Батрак.

Как отсюда вылезти?

Мафусаил.

Спросите у Гавриила.

Батрак.

А Гавриил который?
Все — как один!

Мафусайл (*гордо разглаживая бороду*).
Ну, не скажите,
есть и отличие, —
вот, например, бороды длина-с

Нечистые.

Чего разговаривать?
Крушите!
Это учреждение не для нас.

Батрак.

К обетованной!
Ищите за раем.
Шагайте!
Рай шажищами взроем.

Хор.

Найдем!
Хоть всю вселенную взроем!
Ломают рай, вздымаясь ввысь.

Кузнец.

Заря разгорается —
дальше!
За рай!
Там все разговеемся...
Но когда сквозь обломки рая долезли до верха, перебивает
кузнеца швея.
Да что кормить голодных зарей!

Прачка (*устало*).

Ломаем, ломаем и ломаем мы
тучи.
Не время ли мимо им?

Скоро ли, скоро ли маями
тело усталое вымоем?

Еще голоса.

Куда?

Не очутимся в новом аду ли?

Надули нас!

Нас надули!

А дальше что?

Чем дальше, тем жутче.

(Подумав.)

Вперед трубочиста! Иди, лазутчик!

Из тьмы обломков рая вырастает новая, и последняя, картина.

КОНЕЦ ВТОРОЙ КАРТИНЫ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Обетованная страна. Огромнейшие, во всю сцену, ворота. Ворота размалеваны в какие-то углы, из которых слабо намечаются улицы и площади земных местностей. А наверху, над забором, качаются саженные цветы и горящим семицветием просвечивает радуга. У ворот лазутчик, возбужденно выкликающий карабкающихся.

Трубочист.

Сюда, товарищи!

Сюда!

Высаживайте десант!

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Подымаются нечистые и страшным удивлением окидывают ворота.

Трубочист.

Чудес-с-с-а!!

Плотник.

Да ведь это Иваново-Вознесенск!
Хорошие чудеса.

Слуга.

Как это проходимцам верить, вас спрошу я!

Рыбак.

Да не Вознесенск это,
верьте чести.
Это Марсель.

Сапожник.

А по-моему, Шуя.

Рудокоп.

Не Шуя вовсе.
Это Манчестер.

Батрак.

Манчестер, Шуя —
не в этом дело:
главное —
опять очутились на земле,
опять у того же угла.

Все.

Кругла земля, проклятая,
ох, и кругла!

Прачка.

Земля, да не та!
По-моему,
для земли не мало ли пахнет помоями?

Слуга.

Что это в воздухе —
сласть какая-то разабрикосена?

Сапожник.

Абрикосы!

В Шуе?

Да и время как будто к осени.

Подымают головы. Радуга бьет в глаза.

Все.

А ну, фонарщик,
ты с лестницей, —
лезь да глазом окинь.

*Фонарщик (лезет и останавливается,
обмерев. Только и мямлит).*

Дураки мы!
Ну, и дураки!

Нечистые (разом).

Да рассказывай!
Смотрит, что гусь на молнию!
Рассказывай! Сыч!

Фонарщик.

Н-е м-о-г-у...

Т-а-к-а-я

к-о-с-н-о-я-з-ы-ч-ь...

Дайте мне, дайте стоверстый язычище,
луча чтоб солнечного ярче и чище,
чтоб не тряпкой висел,
чтоб раструбливался лирой,
чтобы этот язык раскачивали ювелиры,
чтоб слова
соловьи разносили изо рта...

Да что!
И тогда не расскажешь ни черта!
Бутыли горящие ходят, булькая...

Г о л о с а.

Булькая?

Ф о н а р щ и к.

Да, булькая!
Дерево цветет,
да не цвeтком, а булкою.

Г о л о с а.

Булкою?

Ф о н а р щ и к.

Да, булкою!

Б а т р а к.

А хозяйка расфуфыренная
и хозяин мопсовидный
ходят по городу, тротуары уродуя?

Ф о н а р щ и к.

Нет,
отсюда никого не видно.
Ничего не заметил этого рода я.
Сахарная женщина...
Две еще!

В с е.

Да говори хоть подробней немножко!

Ф о н а р щ и к.

Да ходят всякие
яства,
вещи.

У каждой ручка,
у каждой ножка.
Фабрики во флагах
за верстою верста.
Куда ни ткнется взор стоног —
в цзетах
без работы стоят
верстак,
станок.

Нечистые (*беспокойно*).

Стоят?
Без работы?
А мы здесь исхищряемся в словесном спорте.
Может, дождь пойдет,
машины испортит.
Ломитесь!
Кричите!
Эй!
Кто тут?

Фонарщик (*скатываясь*).

Идут!

Все.

Кто?

Фонарщик.

Вещи идут!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Ворота распахиваются, и открывается город. Но какой город! Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи и автомобили, а посредине сад звезд и лун, увенчанный сияющей кроной солнца. Из витрин вылезают луч-

шие вещи, и предводительствуемые хлебом и солью, идут к воротам. По онемелым рядам прижавшихся нечистых.

А-а-а-х-х-х!

Вещи,

Ха-ха-ха-ха-ха!

Оживший батрак.

Кто вы?

Чьи вы?

Вещи.

Как чьи?

Батрак.

Да как вашего хозяина имя?

Вещи.

Никаких хозяев!

Ничьи мы.

Батрак.

А для кого хлеб-
соль?

Сахарная голова?
Встречаете кого?

Вещи.

Вас!

Всё вам!

Все.

Нас?

Нам?

Кузнец.

Спим, должно быть.

Выдумки сна.

Швея.

Раз

вот так

сидела галеркою.

На сцене бал.

Травиата.

Ужин.

Вышла —

и такой это показалась горькою
жизнь:

грязь,

лужи.

Вещи.

Никуда это теперь от вас не денется —
это земля.

Охотник.

Будет морочить!

Какая это земля!

Земля — грязь,

земля — ночи.

На земле наработаешь — разинешь рот,
а жирный такой придет и отберет.

Прачка (хлебу).

Зовет,

а сам,

небось,

кусаться будет.

Пятьсот рублей, что пятьсот зубов, должно быть,
на каждом пуде.

Плотник (машине).

Тоже!..

Подходит!..

Походка мышиная.

Мало коверкало нас машиною!

Вам бы лишь зубы на рабочих растить!

Все вещи.

Прости, рабочий!

Рабочий, прости!

Рубля рабы,

рабы рабовладельца

были.

Заставил цепными делаться!

Берегла прилавки, сторублева и зла,

в окна скалила зубья зарев.

Купцовы щупальцы лезли из лавок.

Билось злобой сердце базаров!

Революция,

прачка святая,

с мылом

всю грязь лица земного смыла.

Для вас,

пока блуждали в высях,

обмытый мир

расцвел и высох!

Свое берите!

Берите!

Идите!

Рабочий, иди!

Иди, победитель!

Голоса.

Нога не бритва,

авось не ступим.

Давайте, братцы, попробуем,
ступим!

Нечистые ступают.

Батрак (*трогает землю*).

Землица!

Она!

Родимая землица!

Все.

Запеть бы теперь!

Закричать!

Замолиться!

Булочник (*плотнику*).

Сахар-то —

я его лизнул.

Плотник.

Ну?

Булочник.

Сладок, просто сладок.

Несколько голосов.

Теперь с весельем не будет слада!

Батрак (*хмелея*).

Товарищи вещи,
знаете, что?

Довольно судьбу пытаться.

Давайте, мы будем вас делать,
а вы нас питать.

А хозяин навяжется — не выпустим живьем!
Заживем!

Все.

Заживем!
Заживем!

Нечистые жадно посматривают на вещи.

Батрак.

Я бы взял пилу. Застоялся. Молод.

Пила.

Бери!

Швея.

А я — иглу б.

Кузнец.

Рука не терпит — давайте молот!

Молот.

Бери! Голубь!

Нечистые, вещи и машины кольцом окружают
солнечный сад.

Книга (*обиженно*).

А я?

Все.

Иди!
Довольно ускользала ижица!
Становись, книжица!

Книга становится в почтительно разомкнутый круг

Все.

Чего волами подъяремными мычали?
Ждали,
ждали,
ждали года

и никогда не замечали
под боком такую благодать.
И чего это люди лезят в музеи?
Живое сокровище на сокровище вокруг.
Что это — небо или кусок бумагеи?
Если это дело наших рук,
то какая дверь перед нами не отворится?
Мы — зодчие земель,
планет декораторы,
мы — чудотворцы.
Лучи перевяжем пучками метел,
чтоб тучи небес электричеством вымести.
Мы реки миров расплещем в меде,
земные улицы звездами вымостим.
Копай!
Долби!
Пили!
Буравь!
Все ура!
Всему ура!
Солнцепоклонники у мира в храме,
покажем, как петь умеем мы.
Становитесь хорами —
солнцу псалмы!

Гимн (торжественно).

Сон вековой разнесен —
целое море утр.
Хутор мира, цветы!
Ты наш!
А над нами солнце, солнце и солнце.
Радуйтесь все, кто силен,
цех создателей мира, рабочих.
Бочек вина пьянее
жизнь.

Грей! Играй! Гори!
Солнце — наше солнце!
Довольно!
Мир исколесен.
Цепь железа сменили цепью любящих рук.
Игру новую играйте!
В круг!
Солнцем играйте. Солнце катайте. Играйте в
солнце!

Пауза, а за ней —

Кузнец.

Идем!
Идем по градам и весям,
флагами наши души развесим.
Вылазьте из грязи
все, кому
надоели койки ночлежных нар.
Городов граниты,
зелени сел —
наше все.
Мир — коммунар.

Все.

Трудом любовным
приникнем к земле
все,
дорога кому она.
Хлебьтесь, поля!
Дымитесь, фабрики!
Славься!
Сияй,
солнечная наша
Коммуна!

ЗАНАВЕС

(1918)

150 000 000

150 000 000 мастера этой поэмы имя.

Пуля — ритм.

Рифма — огонь из здания в здание.

150 000 000 говорят губами моими.

Ротационкой шагов

в булыжном верже площадей

напечатано это издание.

Кто спросит луну?

Кто солнце к ответу притянет —
чего

ночи и дни чините!?

Кто назовет земли гениального автора?

Так

и этой

моей

поэмы

никто не сочинитель.

И идея одна у нее —

сиять в настоящее завтра.

В этом самом году,

в этот день и час,

под землей,
на земле,
по небу
и выше —
такие появились
плакаты,
летучки,
афиши:

„ВСЕМ!

ВСЕМ!

ВСЕМ!

Всем,
кто больше не может!
Вместе
выйдите
и идите!“

(подписи):

Месть — церемониймейстер.
Голод — распорядитель.
Штык.
Браунинг.
Бомба.

*(три
подписи:
секретари).*

Идем!
Идемидем!
Го, го,
го, го, го, го,
го, го.
Спадают!
Ванька! —
керенок подсунь-ка в лапоть!
Босому, что ли, на митинг ляпать?
Пропала Рассеичка!
Загубили бедную!
Новую найдем Россию.
Всехсветную!
Иде-е-е-е-м!

Он сидит раззолоченный
за чаем
с птифур.
Я приду к нему
в холере.
Я приду к нему
в тифу.
Я приду к нему,
я скажу ему:
„Вильсон, мол,
Вудро,
хочешь крови моей ведро?
И ты увидишь...“
До самого дойдем
до Ллойд-Джорджа —
скажем ему:
„Пс слушай,
Жоржа...“
— До него дойдешь!
До него океаны.

Страшен,
как же,
Российский одёр им.
— Ничего!
Дойдем пешкодером!
Идемидем!

Будилась призывом,
из лесов
спросонок
лезла сила зверей и зверят.
Визжал придавленный слоном поросенок.
Щенки выстраивались в щенячий ряд
Невыносим человеческий крик.
Но зверий
душу веревкой сворачивал.
(Я вам переведу звериный рык,
если вы не знаете языка зверячьего):

„Слушай,
Вильсон,
заплывший в сале!
Вина людей —
наказание дай им.
Но мы
не подписывали договора в Версале.
Мы,
зверье,
за что голодаем?
Свое животное горе киньте им!
Досыта наестся хоть раз бы еще!
К чреватым саженым травами Индиям,
к американским идемте пастбищам!“

О-о-гу!
Нам тесно в блокаде-клетке.

За Тульской Астраханская,
за машиной машина,
стоявшие недвижимо
даже при Адаме,
двинулись
и на
другие
прут, погромыхая городами.
Вперед запоздавшую темь гоня,
сшибаясь ламп лбами,
на митинг шли легионы огня,
шагая фонарными столбами.

А поверху,
воду с огнем мира,
загнившие утопшими, катились моря.
„Дорогу каспийской волне-баловнице!
Обратно в России руслом не поляжем!
Не в чахлом Баку,
а в ликующей Ницце
с волной средиземной пропляшем по пляжам“.

И, наконец,
из-под грома
бега и езды,
в ширь непомерных легких завздыхав,
всклокоченными тучами рванулись из дыр
и пошли грозой российские воздуха.
Иде-е-е-е-м!
Идемидем!

И все эти
сто пятьдесят миллионов людей,
биллионы рыбин,
триллионы насекомых,

зверей,
домашних животных,
сотни губерний,
со всем, что построилось,
стоит,
живет в них,
все, что может двигаться,
и все, что не движется,
все, что еле двигалось,
пресмыкаясь,
ползая,
плавая —
лавою все это,
лавою!

И гудело над местом,
где стояла когда-то Россия:
Это же ж не важно,
чтоб торговать сахаринном!
В колокола клокотать чтоб — сердцу важно:
Сегодня
в рай
Россию ринем
за радужные закаты скважины.

Го, го,
го, го, го, го,
го, го!
Идемидем!
Сквозь белую гвардию снегов!

Чего полезли губерний туши
из веками намеченных губернаторами зон?

Что слушая небес зияют уши?
Кого озирает горизонт?

Оттого
сегодня
на нас устремлены
глаза всего света
и уши всех напряжены,
наше малейшее лова,
чтобы видеть это —
чтобы слушать эти слова:
это —
революции воля,
брошенная за последний предел,
это —
митинг,
в махины машинных тел
вмешавший людей и зверьи туши,
это —
руки,
лапы,
клешни,
рычаги,
туда,
где воздух поредел,
вонзенные в клятвенном единодушии.
Поэтов,
старавшихся выть поднебесней,
забудьте,
эти слушайте песни:

„Мы пришли сквозь столицы,
сквозь тундры прорвались,
прошагали сквозь грязи и лужищи.

Мы пришли, миллионы,
миллионы трудящихся,
миллионы работающих и служащих.
Мы пришли из квартир,
мы сбежали со складов,
из пассажей, пожаром озаренных.
Мы пришли, миллионы,
миллионы вещей,
изуродованных,
сломанных,
разоренных.

Мы спустились с гор,
мы из леса сползли,
от полей, годами глоданных.
Мы пришли,
миллионы,
миллионы скотов,
одичавших,
тупых,
голодных.

Мы пришли,
миллионы
безбожников,
язычников
и атеистов —
биясь —
лбом,
ржавым железом,
полем —
все
истово
господу богу помолимся.

Выйдь
не из звездного
нежного ложа,
боже железный,
огненный боже,
боже не Марсов,
Нептунов и Вег,
боже из мяса —
бог — человек!
Звездам на мель
не загнанный ввысь,
земной
между нами
выйди,
явись!

Не тот, который
„иже еси на небесех“.
Сами
на глазах у всех
сегодня
мы
займемся
чудесами.

Твое во имя
биться дабы,
в громе,
в дыме
встаем на дыбы.
Идем на подвиг
труднее божеского втрое,
творившего,
пустоту вещами даруя.

А нам
не только новое строя,
фантазировать,
а еще и издинамитить старое.

Жажда, пои!
Голод, насыть!
Время
в бои
тело носить.

Пули погуще!
По оробелым!
В гущу бегущим
грянь, парабеллум!

Самое это!
С донышка душ!
Жаром,
жженьем,
железом,
светом
жарь,
жги,
режь,
рушь!

Наши ноги —
поездов молниеносные проходы.
Наши руки —
пыль сдувающие веера полян.
Наши плавники — пароходы.
Наши крылья — аэроплан.

Игти!
лететь!

проплывать!
катиться! —
всего мирозданья проверяя реестр.
Нужная вещь —
хорошо,
годится.
Ненужная —
к чорту!
черный крест.
Мы
тебя доконаем,
мир-романтик!
Вместо вер —
в душе
электричество,
пар.
Вместо нищих —
всех миров богатство прикарманьте!
Стар — убивать.
На пепельницы черепа!

В диком разгроме
старое смыв,
новый разгромим
по миру миф.
Время — ограду
взломим ногами.
Тысячу радуг
в небе нагаммим.

В новом свете раскроются
поэтом опоганенные розы и грезы.
Все
на радость
нашим

глазам больших детей!
Мы возьмем
и придумаем
новые розы —
розы столиц в лепестках площадей.
Все,
у кого
мучений клейма нажжены,
тогда приходите к сегодняшнему палачу.
И вы
узнаете,
что люди
бывают нежны,
как любовь,
к звезде вздымающаяся по лучу.
Будет
наша душа
любовных Волг слиянным устьем.
Будешь
— любой приплыви —
глаз сияньем облит.
По каждой
тончайшей артерии
пустим
поэтических вымыслов феерические корабли.
Как нами написано,
мир будет таков
и в среду,
и в прошлом,
и ныне,
и присно,
и завтра,
и дальше —
веки-веков!
За лето

столетнее
бейся,
пой —
— „И это будет
последний
и решительный бой!“
Залпом глоток гремим гимн!
Миллион плюс!
Умножим на сто!
По улицам!
На крыши!
За солнца!
В миры —
слов звонконогие гимнасты!
И вот
Россия
не нищий оборвыш,
не куча обломков,
не зданий пепел —
Россия
вся
единый Иван,
и рука
у него —
Нева,
а пятки — каспийские степи.
Идем!
Идемидем!
Не идем, а летим!
Не летим, а молньимся,
души зефирами вымыв!
Мимо
баров и бань.
Бей, барабан!
Барабан, барабань!

Были рабы!
Нет раба!
Баарбей!
Баарбань!
Баарабан!
Эй, стальногрудые!
Крепкие, эй!
Бей, барабан!
Барабан, бей!
Или — или,
пропал или пан!
Будем бить!
Бьем!
Били!
В барабан!
В барабан!
В барабан!

Революция
царя лишит царева званья.
Революция
на булочную бросит голод толп.
Но тебе
какое дам название,
вся Россия, смерчем скрученная в столб?!
Совнарком
его частица мозга, —
не опередить декретам скач его.
Сердце ж было так его громоздко,
что Ленин еле мог его раскачивать.
Красноармейца можно отступить заставить,
коммуниста сдавить в тюремный гнет,
но такого
в какой удержишь заставе,
если

такой
шагнет?!

Гром разодрал побережий уши,
и брызги взметнулись земель за тридевять,
когда Иван,
шаги обрушив,
пошел
грозою вселенную выдвинуть.

В стремя фантазии ногу вденем,
дней оседлаем порох,
и сами
за этим блестящим виденьем
пойдем излучаться в несметных просторах.

Теперь
повернем вдохновенья колесо.
Наново ритма мерка.
Этой части главное действующее лицо —
Вильсон.
Место действия — Америка.

Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической.
Город в ней стоит
на одном винте,
весь электро-динамо-механический.

В Чикаго
14000 улиц,

солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго!
В Чикаго
от света
солнце
не ярче грошевой свечи.
В Чикаго
чтоб брови поднять —
и то
электрическая тяга.
В Чикаго
на версты
в небо
скачут
дорог стальные циркачи.
Чудно человеку в Чикаго!

В Чикаго
у каждого жителя
не менее генеральского чин.
А служба —
в барах быть,
кутить без забот и тягот.
Слестного
в чикагских барах
чего чего не начудено!
Чудно человеку в Чикаго!
Чудно человеку!
И чудно!

В Чикаго
такой свирепеет грохот —

что грузовоз
с тысячесильной машиною -
казался,
что ветрится тихая кроха,
что он
прошелестывал тишью мышиною.

Русских
в город тот
не везет пароход,
не для нас дворцов этажи.
Я один там был,
в барах ел и пил,
попивал в барах с янками джин.
Может, пустят и вас,
не пустили пока —
начиняйтесь же и вы чудесами —
в скороходах-стихах,
в стихах-сапогах
исходите Америку сами!

Аэростанция
на небоскребе.
Вперед,
пружина бока в дирижабле!
Сожмутся мосты до воробьих ребер.
Чикаго внизу
землею прижатен.
А после
с неба,
видные еле,
сорвавшись,
камнем в бездну спланируем.
Тоннелем
в метро

подземные вёрсты выроем
и выйдем на площадь.
Народом запружена.
Версты шириною с три.

Отсюда начинается то, что нам нужно —
— „Королевская улица“ —
по-ихнему
— „Рояль Стрит“. —

Что за улица?
Что на ней стоит?

А стоит на ней —
Чипль-Стронг-Отель.

Да отель ли то
или сон?!

А в отеле том
в чистоте,
в теплоте
сам живет
Вудро
Вильсон.

Дом какой — не скажу.

А скажу когда,
то покорнейше прошу не верить.

Места нет такого, отойти куда,
чтоб всего его глазом обмерить.

То,
что можно увидеть,
один уголок,

но и то
такая диковина!

Посмотреть, например,
на решотки клок —
из сгущенного солнца кована.

А с боков сбойдешь —
гора не гора!
Верст на сотни,
а может на тыщи.
За седьмое небо зашли флюгера.
Да и флюгер
не богом ли чищен?
Тоже лестница там!
Не пойдешь по ней!
Меж колоночек,
балкончиков,
портиков
сколько в ней ступеней
и не счесть ступне —
ступеней этих самых
до чоргигов!
Коль пешком пойдешь —
иди молодой!
Да и то
дойдешь ли старым!
А для лифтов —
тракгиры по лестнице той,
чтоб не изголодались задаром.
А доехали —
если рады нам —
по пяти впускают парадным.
Триста комнат сначала гости идут.
Наконец дошли.
Какое!
Тут
опять начались покои.
Вас встречает лакей.
Булава в кулаке.
Так пройдешь лакеев пять.
И опять булава.

И опять лакей.
Залу кончишь —
лакей опять.
За лакеями
гуще еще
курьер.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Нет числа.
От числа такого
дух займет у щенка Хлестакова.
И только
уставши
от страшных снований,
когда
не кажется больше,
что выйдешь,
а кажется,
нет никаких оснований,
чтоб кончилось это —
приемную видишь.
Вход отсюда прост —
в триаршинный рост
секретарь стоит в дверях нем.
Приоткроем дверь.
По ступенькам — (две)
приподымемся,
взглянем,
ахнем! —
То не солнце днем —
цилиндрище на нем
возвышается башней Сухаревой.
Динамитом плюет
и рыгает огнем,
рыжий весь,
и ухаает ухарево.

Посмотришь в ширь —
иоркширом иоркшир!
А длина —
и не скажешь какая длина,
так далёко от ног голова удалена!
То ль заряжен чем,
то ли с присвистом зуб,
что ни звук —
бух пушки.
Люди мелочь одна,
люди ходят внизу,
под ним стоят,
как избушки.
Щеки ж
такой сверхъестественной мякотп,
что сами просятся —
придите,
лягте.
А одежда тонка,
будто вовсе и нет —
из тончайшей поэтовой неги она.
Кальсоны Бильсона
не кальсоны — сонет,
сажени из ихнего Онегина.
А работает как!
Не покладает рук.
Может заработать до смерти.
Вертит пальцем большим
большого вокруг.
То быстрее,
то медленней вертит.
Повернет —
расчет где-нибудь
на заводе.
Мне

платить не хотят построчной платы.
Повернет —
Штраусы вальсы заводят,
золотым дождем заливает палаты.
Чтоб его прокормить,
поистратили рупь.
Обкормленный весь,
опоенный.
И на случай смерти
не пропал чтоб труп,
салотопки стоят,
маслобойни.
Все ему
американцы отданы,
и они
гордо говорят:
я —
американский подданный.
Я —
свободный
американский гражданин.
Под ним склоненные
стоят
его служащих сонмы.
Вся зала полна
Линкольнами всякими,
Уитмэнами,
Эдиссонами.
Свита его
из красавиц,
из самой отборнейшей знати.
Его шевеленья малейшего ждут.
Аделину
Патти
знаете?

Тоже тут!
В тесном смокинге стсит Уитмэн,
качалкой раскачивать в невиданном ритме.
Имея наивысший американский чин —
„заслуженный разглаживатель дамских
морщин“,
стоит уже загримированный и в шляпе
всегда готовый запеть Шаляпин.
Паркеты песком соря,
рассыпчатые от старости стоят профессора.
Сам знаменитейший Мечников
стоит и снимает нагар с подсвечников.
Конечно
ученых
сюда
привел
теорий потоп?
Художников
какое-нибудь
великолепнейшее
экольдебозар?
Ничего подобного!
Все
сошлись,
чтоб
ходить на базар.
Ежеутренне
все эти
любимцы муз и слав
нагрузятся корзинами,
идут на рынок
и несут.
несут
мясá,
маслá.

Какой-нибудь король поэтов
Лонгфелло
сто волочит со сливками крынок.
Жрет Вильсон,
наращивает жир,
растут животы,
за этажом этажи.

Небольшое примечание:

Художники
Вильсонов,
Ллойд-Джорджев,
Клемансо
рисуют —
усатые,
безусые рожи —
и напрасно:
всё
это
одно и то же.

Теперь
довольно смеющихся глав нам.
В уме
Америку
ясно рисуете.
Мы переходим
к событиям главным.
К невероятной,
к гигантской сути.

День
этот

был
огнеупорный.
В разливе зноя земли тихли.
Ветров иззубренные бороны
вотще старались воздух взрыхлить.
В Чикаго
жара непомерная:
градусов 100,
а 80 — наверное.
Все на пляже.
Кто могли — гуляли себе.
А в большей части лежали даже.
Пот
благоухал
на их холеном теле.
Ходили и пыхтели.
Лежали и пыхтели.
Барышни мопсиков на цепочках водили,
и
мопсик
раскормленный был,
как теленок.
Даме одной,
дремавшей в идиллии,
в ноздрю
сжаревший влетел мотыленок.
Некоторые вели оживленные беседы,
говорили „ах“,
говорили „ух“.
С деревьев слетал пух.
Слетал с деревьев мимозовых.
Розовел
на белых шелках и кисеях.
Белел на розовых.
Так

довольно долго
все занимались
приятным времяпрепровождением.

Но уже
час тому назад
стало
кое-что
меняться.

Еле слышное,
разве только что кончиком души,
дуновенье какое-то.

В безветренном море
ширятся всплески.

Что такое?

Чего это ради ее?

А утром
в молнийном блеске

АТА

(Американское Телеграфное Агентство)
город таким шарахнуло радио:

„Страшная буря на Тихом океане.

Сошли с ума муссоны и пассаты.

На Чикагском побережьи выловлены рыбы.

Очень странные.

В шерстях.

Носатые“.

Вылазили сонные,

не успели еще обсудить явление,

а радио

спешные

вывешивало объявления:

„Насчет рыб ложь.

Рыбак спяну местный.

Муссоны и пассаты на месте.

Но буря есть.

Даже еще страшней.
Причины неизвестны".
Выход судам запретили большие,
к ним
присоединились
маленькие пароходные компанийки.
Доллар пал.
Чемоданы нарасхват.
Биржа в панике.
Незнакомого
на улице
останавливали незнакомые
— не знает ли чего человек со стороны.
Экстренный выпуск!
Радио!
Выпуск экстренный!
„Радиограмма переврана.
Не бурь раскат.
Другое.
Грохот неприятельских эскадр".
Радио расклеили.
И, опровергая оное,
сейчас же
новое
последнее,
захватывающее,
сенсационное.
„Не пушечный дым —
океанская синева.
Нет ни броненосцев,
ни флотов,
ни эскадр.
Ничего нет.
Иван".
Что Иван?

Какой Иван?
Откуда Иван?
Почему Иван?
Чем Иван?
Положения не было более запутанного.
Ни одного объяснения
достоверного,
путного.
Сейчас же собрался коронный совет.
Всю ночь во дворце беспокоился свет.
Министр Вильсона
Артур Крупп
заговорился так,
что упал, как труп.
Капитализма верный трезор,
совсем умаялся сам Крезо.
Вильсон
необычайное
проявил упорство
и к утру
решил —
иду в единоборство.
Беда надвигается.
Две тысячи верст.
Верст за тысячу
За сто.
И.....
очертанья идущего
нащупали,
заметили,
увидели маяки глазастые.

Строки
этой главы

гремите,
время ритмом роя:
В песне —
миф о героях Гомера,
история Трои,
до неузнаваемости раздутая,
воскресни!

Голодный
с теплом в единственный градус
жизни,
как милости даренной,
радуюсь,
ход твой следя легендарный.
Куда теперь?
Где пеш?
Какими идешь морями?
Молнию рвущихся депеш
холодным стихом ораим.
Ворвался в Дарданеллы иванов разбег.
Турки
с разинутыми ртами
смотрят:
человек —
— голова в Казбек! —
идет над Дарданелльскими фортами.
Старики улизнули.
Молодые на мол.
Вышли.
Песни бунта и молодости.
И лишь
до берега вал домёл,

и лишь волною до мола достиг —
бросились,
будто в долгожданном сигнале,
человек на человека,
класс на класс.
Одних короновали.
Других согнали.
Пешком по морю —
и скрылись из глаз.
Других глотает морская ванна,
другими
акула кровавая кутит,
а эти
вошли,
ввалились в Ивана
и в нем разлеглись,
как матросы в каюте.

(А в Чикаго
ничто не сулило пока
для чикагцев страшный час.
Изогнувшись дугой,
оттопырив бока,
веселились,
танцами мчась.)

Замерли римляне.
Буря на Тибре.
А Тибр,
взъярясь,
папе римскому голову выбрил
и пошел к Ивану сквозь утреннюю ясь.

(А в Чикаго,
усы в ликеры вваля,

выступ мяса облапив бабистый.
Илл-ля-ля!
Олл-ля-ля!
Процелованный
взголённый,
разухабистый.)

Черная ночь.
Без звездных фонарей.
К Вильсону,
скользя по водным массам,
коронованный поэтами,
крадется Рейн,
слегка посвечивая голубым лампасом.

(А Чикаго
спит,
обтанцован,
опит,
рыхотелье подушками выхоля.
Синь уснула.
Сопит.
Море храпом храпит.
День встает.
Не расплатой на них ли?)

Идет Иван,
сиянием брезжит.
Шагает Иван,
прибоями брызжет,
Бежит живое.
Бежит, побережит.
Вулканом мир хорохорится рыже
Этого вулкана нет на
составленной старыми географами карте.

Вселенная вся,
а не жалкая Этна,
народов лавой брызжащий кратер
Ревя несется
странами стертыми
живое и мертвое
от ливня лав.
Одни к Ивану бегут
с простертыми
руками —
другие к Вильсону стремглав.
Из мелких фактов будничной тины
выявился факт один:
вдруг
уничтожились все середины —
нет на земле никаких средин.
Ни цветов,
ни оттенков,
ничего нет —
кроме
цвета, красящего в белый цвет,
и красного,
кровавящего цветом крови.
Багровое все становилось багровей.
Белое все белей и белее.
Иван
через царства
шагает по крови,
над миром справляя огней юбилей.
Выходит, что крепости строили даром.
Заткнитесь, болтливые пушки!
Баста!
Над неприступным прошел Гибралтаром.
И мир
океаном Ивану распластан.

(А в Чикаго
на пляже
выводок шлюх
беснованием моря встревожен.
Погоняет время за слухом слух,
отпустив небылицам вожжи.)
Какой адмирал
в просторе намытом
так пути океанские выучит?!
Идет
начиненный людей динамитом.
Идет
всемирной злобою взрывчат.
В четыре стороны расплылось
тихоокеанское лоно.
Иван
без карт,
без компасной стрелки
шел
и видел цель неуклонно,
как будто
не с моря смотрел,
а с тарелки.

(А в Чикаго
до Вильсона
докатился вал,
брошенный Ивановой ходьбою.
Он боксеров,
стрелков,
фехтовальщиков сзывал,
чтобы силу наяривать к бою.)

Вот так открыватели,
так Колумбы

сияли,
когда
Ивану
до носа —
как будто
с тысячезапахой клумбы —
земли приближавшейся запах донесся.

(А в Чикаго
боксеров
распирает труд.
Положили Вильсона наземь
и...
ну тереть!
Натирают,
трут,
растирают силовыми мазями.)

Сверльнуло глаза маяка одноглазье —
и вот
в мозги,
в глаза,
в рот,
из всех океанских щелей вылазя,
Америка так и прет и прет.
Взбиралась с разбега верфь на верфь.
На виадук взлетал виадук.
Дымище такой,
что, в чорта уверовав,
идешь, убежденный,
что ты в аду.

(Где Вильсона дряблость?
Сдули!
Смолодел на сорок годов.

Животами мышцы вздулись.
Ощупали.
Есть.
Готов.)

Доходит,
пенной волну опея,
гигантам домам за крыши замча,
на берег выходит Иван
в Америке,
сухенький,
даже ног не замоча.

(Положили Вильсону последний заклеп
на его механический доспех,
шлем ему бронированный возвели на лоб
и к Ивану он гонит спех.)

Чикагцы
себя
не любят
в тесных уликах плющить.
И без того
в Чикаго
площади самые лучшие.
Но даже
для чикагцев непомерная
площадь
была приготовлена для этого случая.

Люди,
место схватки ораив,
пускай непомерное! —
сузили в узел.
С одной стороны —
с горностаем,

с бобрами,
с другой —
синевели в замасленной блузе.
Лошади
в кашу впутались
в ту же.
К бобрам —
арабский скакун,
к блузам —
тяжелые туши битюжьи.
Вздымают ржанье,
грозят рысаку.

Машины стекались, скользя на мази
На классы разбился
и вывод
и ввоз.
К бобрам
изящный ушел лимузин,
к блузам
стал
стосильный грузовоз.

Ни песне,
ни краске не будет отсрочки,
бой вас решит — судия строгий.
К бобрам —
декадентов всемирных строчки.
К блузам —
футуристов железные строки.

Никто,
никто не избегнет возмездья —
звезде

и той
не уйти.
К бобрам становитесь,
генералы созвездья,
к блузам —
миллионы Млечного пути.
Наружу выпустив скованные лавины,
земной шар самый
на две раскололся полушарий половины
и, застыв,
на солнце
повис весами.

Всеми сущими пушками
над
площадью объявлен был
„чемпионат
всемирной классовой борьбы!“
В ширь
ворота Вильсону —
верста, '
и то он
боком стал
и еле лез ими.

Сапожищами
подгибает бетон.
Чугунами гремит,
железами.

Во Ивана входящего вперился он —
осмотреть врага,
да нечего
смотреть —

ничего,
хорошо сложен,
цветом тела в рубаху просвечивал.

У того —
револьверы
в четыре курка,
сабля
в семьдесят лезвий гнута,
а у этого —
рука
и еще рука,
да и та
за пояс ткнута.

Смерил глазом.
Смешок по усам его.
Взвил плечом шитье эполетово:
„Чтобы я —
о господи! —
этого самого?
Чтобы я
не смог
вот этого?!“

И казалось —
растет могильный холм
посреди ветров обываний.
Ляжет в гроб,
и отныне
никто,
никогда,
ничего
не услышит
о нашем Иване.

Сабля взвизгнула.
От плеча
и вниз
на четыре версты прорез.
Встал Вильсон и ждет —
кровь должна б,
а из
раны
вдруг
человек полез.
И пошло ж итти!
Люди,
дома,
броненосцы,
лошади
в прорез пролезают узкий.
С пением лезут.
В музыке.
О горе!
Прислали из северной Трои
начиненного бунтом человека-коня!
Метались чикагцы,
о советском строе
весть по оторопевшим рядам гоня.

Товарищи газетчики,
не допытывайтесь точно,
где была эта битва
и была ль когда.
В этой главе
в пятиминутье всредоточены
бывших и не бывших битв года.

Не Ленину стих умиленный.
В бою
славлю миллионы,
вижу миллионы,
миллионы пою.
Внимайте же, историки и витии,
битв не бывших видевшему перипетии!

„Вставай, проклятьем заклейменный“ —
радостная выстрелила весть.
В ответ
миллионный
голос:
„Готово!“
„Есть!“
„Боже, Вильсона храни.
Сильный, державный“,
они
голос подняли ржавый.

Запела земли половина красную песню.
Земли половина белую песню запела.
И вот
за песней красной,
и вот за песней за белой —
тараны затарахтели в запертое будущее,
лучей щетины заскребли,
замели.
Руки разрослись,
легко распутывающие
неведомые измерения души и земли.
Шарахнутые бунта веником
лавочки,
не доведя обычный торг,
разбежались ошпаренным муравейником

из банков,
магазинов,
конторок.

На толщъ душивших набережных и дамб
к городам
из океанов
двинулась вода.

Столбы телеграфные то здесь,
то там

соборы вздергивали на провода.
Бросив насиженный фундамент,
за небоскребом пошел небоскреб,
как тигр в зверинце —
мясо

фунтами,
пастью ворот особнячишки сгреб.

Сами себя из мостовых вынув
— Где, хозяин, лбище твой? —

Взеркальные стекла бриллиантовых магазинов
бросились булыжники мостовой.

Не боясь сестъ на мель,
не боясь на колокольни напороть туши,
просто —

как мы с вами —
шагали киты сушей.

Красное все,
и все, что бело,
билось друг с другом,
билось и пело.

Танцевал Вильсон
во дворце кэк-уок,
заворачивал задом и передом,
да не доделала нога экивок,
в двери смотрит Вильсон,

а в двери там —
непоколебимые,
походкой зловещею,
человек за человеком,
вещь за вещью
вваливаются в дверь в эту:
„Господа Вильсоны,
пожалте к ответу!“

И вот,
притворявшиеся добрыми,
колье
на Вильсоних
бросились кобрами.
Выбирая,
которая помягче и почище,
по гостиным
за миллиардершами
гонялись грузовичищи.

Не убежать!
Сороконогая
мебель раскинула лов.
Топтала людей гардеробами,
протыкала ножками столов.
Через Рокфеллеров,
валяющихся ничком,
с горлами,
сжимаемыми собственным воротничком,
растоптав,
как тараканов,
вывалилась,
в Чикаго канув.
По улицам
в сажéни

дома не видно от дыма сражений.
Как в кинематографе
бывает —
вдруг
крупно —
видят:
сквозь хаос
ползущую спекуляцию добывает,
встав на задние лапы,
Совнархоз.

Но Вильсон не сдается,
засел во дворце,
нажимает золотые пружины,
и выстраивается цепь —
нечеловеческие дружины.
Страшней, чем танки,
чем войск роты,
безбрюхий встал,
пошел сторотый,
мильонозубый
ринулся голод.
Город грызнет — орехом расколот.
Сгреб деревню — хрустнула косточкой.
А людей,
а людей и зверей —
просто в рот заправляет горсточкой.
Впереди его,
вывострив ухо,
путь расчищая, лезет разруха.
Дышит завод.
Разруха слышит.
Слышит разруха — фабрика дышит.
Грохнет по фабрике —
фабрика свалена.

Сдавит завод —
завод развалина.
Рельс обломком крушит, как палицей.
Все разрушается,
гибнет,
валится.
Готовься!
К атаке!
Трудись!
Потей!
Горло голода,
разрухи глотку
затянем
петлей железнодорожных путей!
И когда пресекаться дух стран
стал
голодом сперт —
тогда,
раскачивая поездов таран,
двинулся вперед транспорт.
Ветрилась паровозов борода седая,
бьются,
голод сдал,
и по нем,
остатки съедая,
груженные хлебом прошли поезда.

Искорежился, —
и во гневе
Вудро,
приказав:
„сразите сразу“,
новых воинов высылает рой —
смертоноснейшую заразу.
Идут закованные в грязевые брони

спирохет на спирохете,
вибрион на вибрионе.
Ядом бактерий,
лапами вшей
кровь поганят,
ползут за шей.
Болезни явились
небывалого фасона:
вдруг
человек
становится сонный,
высыпает рябь,
распухает
и лопается грибом.
Двинулись,
предводимые некою
радугоглазой аптекою,
бутыли карболочные выдвинув в бойницы,
лазареты,
лечебницы,
больницы.
Вши обступили,
сгрудились скопом.
Вшей
в упор
расстреливали микроскопом.
Молотит и молотит дезинфекции цеп.
Враги легли,
ножки задрал.
А поверху,
размахивая флаг-рецепт,
прошел победителем мировой Наркомздрав.

Вырывается у Вильсона стон,—
и в болезнях побит и в еде,

и последнее войско высылает он —
ядовитое войско идей.

Демократизмы,
гуманизмы —
идут и идут
за измами измы.

Не успеешь разобратся,
чего тебе нужно,
а уже
философией
голова заталмужена.
Засасывали романсов тиной.
Пеннем заворачивали.
Завлекали картиной.
Пустые головы
книжками
для веса
нагрузив,
пошел за профессором профессор.
Их
молодая встретила орава,
и дулам браунингов в провал
рухнуло римское право
и какие-то еще права.
Простонародью очки втирая,
адам пугая,
прельщая раем,
и лысые, как колено,
и мохнатые, как звери,
с евангелиями вер,
с заговорами суеверий,
рясами вздыбив пыль,
армией двинулись чернобелые попы.
Под градом декретов

от красной лавины
рассыпались
попы,
муллы,
раввины.
А ну, чудотворцы,
со смертных одр,
встаньте-ка!
На месте кровавого спора
опора веры валяется —
Петр
с проломанной головой собственного собора.
Тогда
поэты взлетели на небо,
чтоб сверху стрелять, как с аэроплана бы.
Их
на приманку академического пайка
заманивали,
ждали не спустятся пока.
Поэты бросались, камнем пав —
в работу их,
перья рифм ощипав!
В „Полное собрание сочинений“,
как в норки,
классики забились.
Но жалости нет!
Напрасно
их
наседкой
Горький
прикрыл,
распустив изношенный авторитет.
Фермами ног отмахивая мили,
кранами рук расчищая пути,
футуристы

прошлое разгромили,
пустив по ветру культуришки конфети.

Стенкой в стенку,
валяясь в пыли,
билась с адмиралтейством
Лувра труха,
пока
у адмиралтейства
на штыке-шпиле
не повисли Лувра картинные потроха.

Последняя схватка.
Сам Вильсон.
И в ужасе видят вильсонцы:
испепелен он,
задом придавить пытавшийся солнце.

Кто вспомнит безвестных главковерхов имя,
победы громоздивших одна на одну?
Загрохотав в международной Цусиме,
эскадра старья пошла ко дну.

Фабриками попирая прошедшего труп,
будущее загорланило триллионом труб:
„Авелем называйте нас
или Каином,
разница какая нам!
Будущее наступило!
Будущее победитель!
Эй, века,
на поклон идите!“
Горизонт перед солнцем расступился злюч.
И только что
мира пол заклавший,

Каин гением взялся за луч,
как музыкант берется за клавиши.

История,
в этой главе
как на ладони бег твой.
Голодая и ноя.
города расступаются,
и над пылью проспектовой
солнцем встает бытие иное.

Год с нескончаемыми нулями.
Праздник, в святцах не имеющий чина.
Выфлажено все.
И люди,
и строения.
Может быть,
Октябрьской революции сотая годовщина,
может быть,
просто
изумительнейшее настроение.
Разгоняя дирижабли небесам под уклон,
поездами,
на палубах бесчисленных эскадр,
извилинами пеших колонн
за кадром выстраивают человеческий кадр.

Большеголовые,
в красном сиянии
с Марса слетевшие, встали марсияне.
Взывает аэро,

и снова нет.
снова птицей солнце заслонится.
И снова
с отдаленнейших слетают планет,
винтами развеерясь из-за солнца.
Пустыни смыты у мира с хари,
деревья за стволом расфеерили ствол.
На площади зелени —
на бывшей Сахаре —
сегодня
ежегодное торжество.

День за днем спускались дни, —
и снова густела тьма ночная.
Прежде чем выстроиться сумев,
они
грянули:
Начинаем.

„Голоса людские,
зверьи голоса,
рев рек
ввысь славословием вьем.
Пойте все и все слушайте
мира торжественный реквием.

Вам, давнишние,
года проголодавшие,
о рае сегодняшнем раструбливая весть,
вам,
миллионолетию давшие
петь,
пить,
есть.

Вам, женщины,
рожденные под горностаевые
мантии,
тело в лохмотья ряда,
падавшие замертво,
за хлебом простаивая
в неисчислимых очередях.
Вам,
легионы жидкокостных детей,
толпы искривленной голодом молодежи,
те, кто дожили до чего-то,
и те,
кто ни до чего не дожил.
Вам,
звери,
ребрами сквозя,
забывшие о съеденном людьми овсе,
работавшие, кого-то и что-то возя,
пока исхлестанные не падали совсем.
Вам,
расстрелянные на баррикадах духа,
чтоб дни сегодняшние были пропеты,
будущее ловившие в ненасытное ухо,
маляры,
певцы
поэты.
Вам, которые,
сквозь дым и чад,
жизнью едва державшийся на иотке,
ржавым железом, шестерней скрежеща,
работали все-таки,—
делали все-таки.
Вам не умолкающих слав слова,
ежегодно расцветающие, вовеки не вянув,
за нас замученные — слава вам,

миллионы живых,
кирпичных
и прочих Иванов“.

Парад мировой расходился ровно,—
ведь горе давнишнее душу не бесит.
Годами
печаль
в покой воркестрована
и песней брошена ввысь поднебесить.

Еще гудят голосов отголоски
про смерти чьи-то,
про память вечную.
А люди
уже
в многоуличном лоске
катали минуту, весельем расцвеченную.

Ну и катись средь песенного лада,
цвети, земля, в молотьбе и в сеятьбе.
Это тебе
революций кровавая Илиада!
Голодных годов Одиссея тебе!

(1920)



ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХИ 1912—1917

Порт. Одно из первых стихотворений Маяковского. Написано в конце 1912 г. Впервые напечатано в футуристическом сборнике „Садок судей II“, П. 1913.

А вы могли бы? Написано в середине 1913 г. Напечатано в футуристическом сборнике „Требник троих“, М. 1913. После первых „описательных“, „живописных“ стихов это стихотворение открывает собой серию ораторских вещей Маяковского, непосредственно адресованных аудитории.

Вывескам. Театры. Кое-что про Петербург. Впервые были напечатаны в том же сборнике „Требник троих“ М. 1913. *Магги* — название бульонного экстракта. „*Созвездие Магги*“ — световая реклама этого экстракта. *Карьер* — французский художник, писавший блеклыми тонами.

Ничего не понимают. Впервые напечатано под заглавием „Пробиваясь кулаками“ в футуристическом сборнике „Рыкающий Парнасс“, П. 1914.

Послушайте. Еще Петербург. Оба стихотворения были напечатаны в „Первом журнале русских футуристов“, М. 1914, № 1—2. Первопечатные варианты 8-ой строки „Послушайте“ — „на небо торопится“ (вместо „к богу торопится“) и 7-й строки „Еще Петербург“ — „А с крыш смотрела какая то дрянь“ (вместо „А с неба смотрела какая-то дрянь“) — вызваны были цензурными соображениями.

Война объявлена. Журнал „Новая жизнь“, 1914, август. В автобиографии Маяковский упоминает об этом стихотворении: „Война. Принял взволнованно. Сначала

только с декоративной, с шумовой стороны. Стихотворение — „Война объявлена“.

Мама и убитый немцами вечер. Газета „Новь“ М. 20 ноября 1914 г. В автобиографии дальше Маяковский пишет: „Зима. Отвращение и ненависть к войне. „Ах закройте, закройте глаза газет“ и другие“.

Скрипка и немножко нервно. Журнал „Театр в карикатурах“, М. ноябрь 1914 г. № 18. *Кузнецкий* — улица Кузнецкий Мост в Москве.

Я и Наполеон. Футуристический сборник „Всё новое контрагентство муз“, М. 1915. В тексте сборника цензура изъяла эпитет „простоволосая“ (церковка) и в 34-й строке слово „самодержца“. *Ноев* — владелец цветочного магазина в Москве. „Солнце Аустерлица“ — в битве под Аустерлицем Наполеон одержал блестящую победу. В *Яффе* Наполеон посетил больных чумой. При переходе через *Аркольский мост* он едва не был убит шальной пулей.

Вам! Впервые напечатано под заглавием „Вам, которые в тылу“ в футуристическом сборнике „Взял. Барабан футуристов“. П. 1915. В тексте сборника цензурой выкинута вторая половина 9-й строки: „Если бы он, *приведенный на убой*“. Стихотворение „Вам“ представляет собой резкий памфлет, направленный против буржуазии, обогащающейся на военных спекуляциях. Впервые оно было прочитано Маяковским в кабаре „Бродячая собака“ в феврале 1915 г. Выступление Маяковского вызвало взрыв возмущения в буржуазной части аудитории, и вскоре после этого „Бродячая собака“ была закрыта.

Гимн судьбе. Впервые напечатано под заглавием „Судья“ в журнале „Новый Сатирикон“, П. 1915, № 9. С этого стихотворения началось сотрудничество Маяковского в „Новом Сатириконе“. Это был первый журнал, принявший Маяковского в число своих сотрудников. В своей автобиографии Маяковский вспоминал: „В рассуждении „чего бы покушать“ стал писать в „Новом Сатириконе“. В этом журнале было напечатано большинство стихотворений Маяковского, написанных в 1915—1916 гг.“

Гимн ученому. „Новый Сатирикон“, 1915, № 12.

Военно-морская любовь. „Новый Сатирикон“, 1915, № 25.

Гимн обеду. „Новый Сатирикон“, 1915, № 29. „Если ударами ядер тысячи Реймсов разбить“ — во время империалистической войны немцы бомбардировали знаменитый Реймский собор.

Вот так я сделался собакой. „Новый Сатирик-
кон“, 1915, № 31.

Кое-что по поводу дирижера. „Новый Сати-
рикон“, 1915, № 32.

Внимательное отношение к взяточникам.
„Новый Сатириксн“, 1915, № 35. Этот номер целиком был
посвящен взятке.

Чудовищные похороны. „Новый Сатирикон“,
1915, № 36. „Изрыдавшийся Гаршин“ — Вс. Гаршин —
писатель, писал пессимистические рассказы.

Мое к этому отношение. „Новый Сатирикон“
1915, № 38. „Сыт, как Сытин“ — Сытин крупный издатель
и капиталист. Апухтин — русский поэт, был очень толст.

Эй! „Новый Сатирикон“, 1916, № 8.

На доело. „Новый Сатирикон“. 1916, № 46 под за-
главием „Лучше не называть“. „Простое как мычание“ —
сборник стихов Маяковского, вышедший в 1916 г.

Дешевая распродажа. „Новый Сатирикон“, 1916,
№ 48. Цензурой в тексте журнала было изъято слово
„богодьявол“. „Сегодня в Петрограде на Надеждинской...“ —
Маяковский жил в то время на Надеждинской улице,
(теперь улица Маяковского).

М р а к. „Новый Сатирикон“, 1916, № 49. Э. Верхарн —
бельгийский поэт, трагически погиб в 1916 г. под коле-
сами поезда. Шебуев — бульварный журналист. „Селект“ —
ресторан в Петрограде. „Око“ — карточная игра. В. Поссе —
лектор толстовского направления. Театр Мосоловэй —
театр миниатюр в Петрограде. „Задумчивое слово“ — дет-
ский журнал.

Последняя Петербургская сказка. Напи-
сано в 1916 г. Напечатано в 1919 г. в сборнике „Все со-
чиненное Владимиром Маяковским“. Гостиница „Астория“
в Петрограде на б. Сенатской площади близ памятника
Петра I. Гренадин — прохладительный напиток, который
пьют через соломинку.

Себе любимому. Написано в 1916 г. Впервые
было напечатано в альманахе „Весенний салон поэтов“,
М. 1918.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Первое крупное произведение Маяковского. Написано
летом 1913 г. Ораторский тон, патетическая речь, уста-
новка на аудиторию определили драматическую форму

этого произведения, которое суммирует первые шаги молодого Маяковского. В трагедию вместились все мотивы и темы его первых мелких стихов. Социальная тема трагедии — страдания поэта за всех нищих, обездоленных, за всю боль человечества, — основная тема всего дореволюционного творчества Маяковского. Трагедия была поставлена в декабре 1913 г. обществом художников „Союз молодежи“ в театре „Луна-парк“ в Петербурге. Все роли исполнялись не профессиональными актерами, а учащимися и любителями. Режиссировал сам Маяковский. Он же исполнял главную роль поэта. Пресса встретила спектакль издевательскими рецензиями. В 1914 г. трагедия вышла отдельной книгой в издании „Первого журнала русских футуристов“.

„Старик с черными сухими кошками...“ — в октябре 1913 г. в одном из публичных докладов Маяковский сравнивал старую поэзию „с египтянами, для добывания электрических искр гладившими сухих и черных кошек и все же электричество не изобретшими“. В списке действующих указано, что этому персонажу „несколько тысяч лет“.

ОБЛАКО В ШТАНАХ

Написано было весной и летом 1915 г. Первоначальное заглавие поэмы — „Тринадцатый апостол“ — не было пропущено цензурой. Поэма была издана отдельным изданием О. М. Бриком в 1915 г. небольшим тиражом с большими цензурными купюрами. О происхождении заглавия Маяковский рассказал на вечере в Доме комсомола 25 марта 1930 г. „Облако в штанах“... „сначала называлось „Тринадцатый апостол“. Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: „Что вы, на каторгу захотели?“ Я сказал, что ни в каком случае, что это никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили — как я могу соединить лирику и большую грубость? Тогда я сказал: „Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах“. Эта книжка касалась тогдашней литературы, тогдашних писателей, тогдашней религии, и она вышла под таким заглавием. Люди почти не покупали ее, потому что главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия. Если спрашивали „Облако“, у них спра-

шивали „в штанах“? При этом они бежали, потому что нехорошее заглавие“.

Маяковский считал эту поэму своей программной вещью для того времени. Переиздавая после революции в 1918 году полностью „Облако в штанах“, он писал в предисловии: „Облако в штанах“ (первое имя „Тринадцатый апостол“ зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства. „Долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой ваш строй“, „долой вашу религию“ — четыре крика четырех частей. Долг мой — восстановить и обнародовать эту искаженную и обезжаленную дореволюционной цензурой книгу“.

Тетрантих — складень из четырех частей.

„Воят химеры...“ — собор Парижской богородицы украшен скульптурами, изображающими фантастических чудовищ (химер).

Джиоконда — картина Леонардо-да-Винчи, портрет неизвестной женщины. В 1911 г. была украдена из Лувра, впоследствии найдена.

Помпея — древний город в Италии, погиб во время извержения Везувия.

Люда и Оля — сестры Маяковского.

„Лузитания“ — океанский пассажирский пароход, сгорел в открытом море.

Nil — по латыни — ничто.

Taxi — такси, прокатный автомобиль.

Заратустра — проповедник из книги Ф. Ницше „Так говорил Заратустра“.

Лепрозорий — убежище для прокаженных.

Давид Бурлюк — художник, поэт, друг Маяковского, одноглазый.

„Пейте какао Ван-Гутена“ — человек, приговоренный к казни, чтобы обеспечить свою семью, согласился за большие деньги крикнуть в самый момент казни: „Пейте какао Ван-Гутена“.

Мамай — татарский хан, по преданию пировал, устроив сиденья из досок, положенных на тела побежденных.

Азеф — провокатор.

Варрара — по евангельской легенде разбойник, осужденный в тот же день что и Христос. По преданию толпа требовала помилования Варравы и казни Христа.

Тиана — женское имя из стихов И. Северянина.

Иродиада (имеется ввиду Саломея) по евангельскому

преданию танцевала с отрубленной головой Иоанна Крестителя на блюде.

Севр — город во Франции, где находится знаменитый фарфоровый завод.

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

Написано осенью и зимой 1915 г. Издана была в 1916 г. О. М. Бриком в количестве 600 экз. с цензурными купюрами. Полностью вышла в 1919 г. в сборнике „Все сочиненное Владимиром Маяковским“.

Гофман — немецкий писатель, романтик-фантаст.

„Вылезьте из окопов, после дождя“... — писано во время империалистской войны.

Бахус — бог виноделия в древнегреческой мифологии.

Гретхен — из драматической поэмы Гете „Фауст“.

Травиата — (Виолета) из оперы „Травиата“ Верди.

Стрелка, Сокольники — места загородных прогулок в Петрограде и Москве.

„Имя Лилино“ — поэма была посвящена Лиле Юрьевне Брик.

Пирр — полководец, по преданию одержавший победу над римлянами, но потерявший столько людей в сражении, что воскликнул: „Еще одна такая победа, и я останусь без войска“.

Бялик — еврейский поэт.

Альберт — бельгийский король, „отдал все города“ немцам, наступавшим на Францию через территорию Бельгии.

ВОЙНА И МИР

Написано в конце 1915 и начале 1916 гг. О времени, когда была написана „Война и мир“ Маяковский говорит в автобиографии: „Солдатчина. Паршивейшее время. Рисую (изворачиваюсь) начальниковы портреты. В голове разворачивается „Война и мир“... В середине 1915 г. Маяковский познакомился с Горьким, который начал издавать в то время журнал „Летопись“. Антимилитаристская позиция журнала совпадала с политическими взглядами Маяковского, он был приглашен в число постоянных сотрудников. Гуманитарная концепция „Войны и мира“ носит на себе следы влияния идеологии Горького. Это — первая вещь, написанная Маяковским на большую конкретную

социальную тему. Поэма должна была появиться в „Летописи“ в 1916 г., но не была пропущена цензурой. В № 9 „Летописи“ она фигурирует в списке „произведений, которые не могут быть напечатаны по независящим от редакции обстоятельствам“. Была напечатана частями в 1917 г. в „Летописи“ и „Новой жизни“.

Слово „мир“ в названии писалось через „и“ с точкой — вселенная. 8 октября 1915 г. Маяковский был призван на военную службу. В I части даны ноты аргентинского танго, популярного в 1914—15 гг.

Вавилон — древний город, известный своим богатством и разгулом.

Ной — библейский патриарх, по преданию упился вином и был осмеян своим сыном Хамом.

Бурши — немецкие студенты.

Нерон — римский император, по преданию развлекался кровавыми боями гладиаторов в Колизее (цирке).

Георгий — Георгий победоносец — по христианским верованиям святой, олицетворяющий воинскую доблесть.

Марна — река во Франции, на берегах которой в 1914—15 гг. происходили ожесточенные бои.

Жоффр — французский главнокомандующий.

Пегу — известный французский летчик, погиб на войне.

Ваганьково — кладбище в Москве.

Понтий Пилат — римский наместник в Иудее, при котором согласно евангельской легенде был казнен Христос.

Тальони — известная в XIX веке балерина.

Вий — чудовище из повести Гоголя — „Вий“. Он не мог сам поднять свои тяжелые веки.

Лазарь — по евангельскому преданию умер и воскрес.

Маринетти — вождь итальянских футуристов.

ЧЕЛОВЕК

Написано в конце 1916 г. и начале 1917 г. По теме „Человек“ близко примыкает к „Флейте-позвоночник“ и „Облаку в штанах“. Этой поэмой заканчивается дореволюционная литературная работа Маяковского. Вышла в 1918 г. в издательстве „Асис“ (Ассоциация социалистического искусства).

Голгофа — место, где был по преданию распят Христос.

Летний сад — парк в Петрограде.

Вифлеем — место, где по преданию родился Христос.

Волхвы — мудрецы, которые по евангельскому преданию, узнав по звездам, что родился Христос, пришли ему поклониться.

„Говорящая рыбешка“ — из „Сказки о рыбаке и рыбке“.

Локк — английский бульварный романист.

Фидий — греческий скульптор.

„Флейточка“, „Облачко“, „Флейта-позвоночник“ и *„Облако в штанах“* — названия поэм Маяковского.

„Если красавица в любви клянется“ — ария из оперы *„Риголетто“* Верди.

„Головы кобылей вылеп“ — на улице Жуковского в Петрограде в стене одного дома была ниша и в ней — лепная голова лошади.

СТИХИ 1917—1921

Революция (*поэтохроника*). Первая вещь, написанная после революции. Напечатана в газете *„Новая жизнь“*, П. 21 мая 1917 г., издававшейся под редакцией М. Горького. С этого стихотворения началось сотрудничество Маяковского в *„Новой жизни“*. В газете стихотворение датировано: 17 апреля 1917 г., Петроград.

Волынский полк, о котором упоминает Маяковский, — первый из полков Петроградского гарнизона, перешедший на сторону революции.

В 1916—1917 гг. Маяковский служил в Военно-автомобильной школе. В автобиографии он вспоминал: „...Пошел с автомобилями к Думе. Принял на несколько дней команду автошколы... Пишу в первые же дни революции *„Поэтохронику — Революция“*“.

В программном предисловии к первому сборнику футуристов, вышедшему после Октября (*„Ржаное слово. Революционная хрестоматия футуристов“*, П. 1918) Маяковский, цитируя заключительные строки из этого стихотворения, писал:

„В чем насущность сегодняшней поэзии?

„Да здравствует социализм“ — под этим лозунгом строит новую жизнь политик.

„Да здравствует социализм“ — этим возвышенный идет под дула красноармеец.

„Днесь небывалой сбывается былью социалистов великая ересь“ — говорит поэт.

Если бы дело было в идее, в чувстве — всех троих пришлось бы назвать поэтами. Идея одна. Чувство одно. Разница только в способе выражения."

Сказка о Красной шапочке. Впервые напечатано под заглавием „Сказочка" с подзаголовком „Цвету интеллигенции посвящаю" в газете „Новая жизнь" 30 июля 1917 г. „Кадетами" назывались члены буржуазной конституционно-демократической партии.

К ответу. „Новая жизнь", 9 августа 1917 г. Это резко направленное против империалистической войны стихотворение вызвало тогда издевательский отклик в меньшевистской газете „Единство", выходившей под редакцией Г. Плеханова (11 августа 1917 г., № 113). В заметке под названием „Футурист-интернационалист" „Единство" писало: „Если до сих пор только скучные прозаики победно боролись с „империализмом" Милюкова, французов и англичан, то теперь за это дело взялся в стихах футурист Маяковский... Видимо плохая политическая проза настолько испортила вкус М. Горького, что он потерял чутье и к поэзии".

Тучкины штучки. Написано в 1917—1918 гг. Впервые напечатано в сборнике „Все сочиненное Владимиром Маяковским", П. 1919. Это стихотворение Маяковский предполагал включить в сборник стихов „Для деток", который он хотел выпустить в 1918 г.

Наш марш. „Газета футуристов", 15 марта 1918, № 1. На слова этого марша была тогда же написана музыка, и в дни октябрьских торжеств 1918 г. он исполнялся на эстрадах и площадях.

Хорошее отношение к лошадям. Газета „Новая жизнь". 9 июня 1918 г.

Ода революции. Журнал „Пламя", выходивший под редакцией А. Луначарского, 1918 г., № 27. Номер этот вышел к первой годовщине Октябрьской социалистической революции.

Приказ по армии искусства. Газета „Искусство коммуны", 7 декабря 1918 г., № 1. Эта газета издавалась отделом изобразительных искусств Наркомпроса в конце 1918 и начале 1919 гг. Маяковский принимал ближайшее участие в ее редактировании.

Поэт рабочий. „Искусство коммуны", 22 декабря 1918 г., № 3.

Левый марш. „Искусство коммуны", 12 января 1919 г., № 6. Стихотворение это было написано, как Мая-

ковский вспоминал впоследствии, в связи с тем, что матросы б. гвардейского экипажа в Петрограде пригласили его почитать им стихи. Не желая читать им старые стихи на дореволюционные темы, Маяковский специально для этого выступления написал „Левый марш“ и посвятил его матросам. Маяковский выступал в б. Гвардейском экипаже 17 декабря 1918 г. „Левый марш“ переведен почти на все европейские языки и на языки народов СССР.

Потрясающие факты. „Искусство коммуны“, 19 января 1919 г. Сюжет стихотворения представляет собой поэтическую реализацию первой фразы „Коммунистического манифеста“: „Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма“.

С товарищеским приветом, Маяковский. „Искусство коммуны“, 9 февраля 1919, № 10. Стихотворение написано в связи с годовщиной отдела изобразительных искусств Наркомпроса.

Необычайное приключение... Впервые напечатано в футуристическом сборнике „Лирень“, М. 1920. „Сиди, рисуй плакаты...“ — в 1919—21 гг. Маяковский интенсивно работал в РОСТА — рисовал агитплакаты и делал стихотворные подписи к ним.

Отношение к барышне. Гейнеобразное. Напечатаны в сборнике „Лирень“, М. 1920.

Рассказ про то, как кума... Написано в 1920 г. Где было впервые напечатано — не установлено. Многократно перепечатывалось в разных сборниках Маяковского и в хрестоматиях.

Песня рязанского мужика. Одна из многочисленных подписей под агитплакатами РОСТА („Окна сатиры РОСТА“). Написано в конце 1919 или начале 1920 г.

Бабы и бублики. Написано в 1920 г. для „Окоп сатиры РОСТА“ (к каждому четверостишию был рисунок). Многократно перепечатывалось.

Сказка о дезертире. Выпущена была Гизом в 1921 г. массовым тиражом. (200.000 экз.) с рисунками Маяковского. Ко второму изданию сказки (1923) Маяковский дописал к ней несколько вступительных и заключительных строф.

Последняя страничка гражданской войны. Впервые напечатано в журнале „БОВ“ (Боевой отряд весельчаков), М. 1921, № 1. Это был первый советский сатирический журнал, вышедший при ближайшем участии Маяковского.

МИСТЕРИЯ БУФФ

Первое крупное произведение Маяковского после Октябрьской революции. Написано в 1918 г. Пьеса встретила тогда же очень положительную оценку со стороны Наркома просвещения А. В. Луначарского. Выступая на одном собрании, Луначарский так охарактеризовал ее: „Один из талантливых футуристов, поэт Маяковский написал поэтическое произведение, которое назвал „Мистерия Буфф“. Я видел, какое впечатление она производит на рабочих: она их очаровывает... Содержание этого произведения дано гигантскими переживаниями настоящей современности, содержание, впервые в произведениях искусства адекватное явлениям жизни“.

Возникла мысль поставить эту пьесу ко дню первой годовщины Октября. Постановка, однако, встретила много затруднений—не было театра, который согласился бы включить эту пьесу в репертуар, не было актеров. Мейерхольд и Маяковский поместили в газете объявление, приглашая играть всех желающих. Премьера состоялась в помещении театра Музыкальной драмы 7 ноября 1918 г. „Человека просто“ играл сам Маяковский. Ему же пришлось, заменяя неявившихся исполнителей, играть Мафусаила и одного из чертей.

В 1920 г. „Мистерия“ была включена в репертуар театра РСФСР Первого (ныне театр им. Мейерхольда). Для этой постановки Маяковский сильно переделал пьесу, „осовременил“ ее, ввел злободневные персонажи. В предисловии к этому второму варианту пьесы (1921) Маяковский писал: „Мистерия-Буфф“—дорога. Дорога революции. Никто не предскажет в точности, какие еще горы придется взрывать нам, идущим этой дорогой. Сегодня сверлит ухо слово „Ллойд Джордж“, а завтра его имя забудут и сами англичане. Сегодня к коммуне рвется воля миллионов, а через полсотни лет, может быть, в атаку далеких планет ринутся воздушные дредноуты коммуны. Поэтому, оставив дорогу (форму), я опять изменил части пейзажа (содержания). В будущем все играющие, ставящие, читающие, печатающие „Мистерию Буфф“, меняйте содержание, — делайте его современным, сегодняшним, сиюминутным“.

Первое издание „Мистерии Буфф“ вышло в 1918 г. Второй вариант пьесы был напечатан в журнале „Вестник театра“, 1921, № 91 — 92.

Поэма написана была в 1919 — 1920 гг. Все это время Маяковский усиленно работал в РОСТА, рисуя агитплакаты и делая подписи к ним. Эта работа наложила свой отпечаток на народно-плакатный стиль поэмы. Первоначальное название поэмы было: „Иван. (Былина. Эпос революции)". Первое издание поэмы вышло в 1921 (М. Гиз) без указания имени автора. В автобиографии М-ий писал: „Кончил „Сто пятьдесят миллионов". Печатаю без фамилии. Хочу, чтоб каждый дописывал и лучшил. Этого не делали, зато фамилию знали все".

Верже — сорт дорогой бумаги, на которой печатались обычно стихи.

Керенки — деньги, выпущенные правительством Керенского.

Птифур — печенье.

Вудро Вильсон — американский президент. Здесь изображен как собирательное лицо, символизирующее всю мировую буржуазию.

Версальский договор подписан по окончании империалистической войны Антантой с Германией, знаменовал полный разгром Германии.

Марс, Нептун — планеты. *Вега* — звезда.

Парабеллум — автоматический револьвер.

Нагаммим — от слова гамма — музыкальный ряд звуков.

Джин — спиртной напиток.

Йоркшир — свинья иоркширской породы.

Штраус — известный композитор.

Линкольн — президент США.

Уитмен — американский поэт.

Эдиссон — знаменитый изобретатель.

Аделина Патти — известная певица.

Мечников — русский ученый.

Экольдебозар — по-французски — школа изящных искусств.

Артур Крупп, Крез — владельцы военных заводов.

Тибр — река, на которой стоит Рим.

„С проломленной головой собственного собора..." — имеется в виду собор Петра в Риме.

Реквием — музыкальное произведение памяти почивших.

Илиада, Одиссея — названия поэм Гомера.

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир Маяковский *И. К. Луппол* 5

1912—1917

Порт	39
А вы могли бы?	39
Вывескам	40
Театры	40
Кое-что про Петербург	41
Ничего не понимают	41
Послушайте	41
Еще Петербург	42
Война объявлена	43
Мама и убитый немцами вечер	44
Скрипка и немножко нервно	46
Я и Наполеон	47
Вам!	50
Гимн судье	51
Гимн ученому	52
Военно-морская любовь	54
Гимн обеду	55
Вот так я сделался собакой	56
Кое-что по поводу дирижера	58
Внимательное отношение к взяточникам	59
Чудовищные похороны	60
Мое к этому отношение	62
Эй!	63
Надоело	65

Дешевая распродажа	67
Мрак	69
Последняя Петербургская сказка	71
Себе, любимому	72

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ (<i>Трагедия</i>)	75
ОБЛАКО В ШТАНАХ	96
ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК	120
ВОЙНА И МИР	131
ЧЕЛОВЕК	167

1917—1921

Революция	201
Сказка о Красной шапочке	208
К ответу	208
Тучкины штучки	210
Наш марш	210
Хорошее отношение к лошадям	211
Ода революции	213
Приказ 1-й армии искусства	215
Поэт работный	216
Левый марш	218
Потрясающие факты	219
С товарищеским приветом, Маяковский	222
Необычайное приключение	223
Отношение к барышне	227
Гейнеобразное	228
Рассказ про то, как кума о Врангеле тол- ковала без всякого ума	228
Песня рязанского мужика	233
Бабы бублики	235
Сказка о дезертире	236
Последняя страничка гражданской войны	247
МИСТЕРИЯ БУФФ	249
150 000 000	329
<i>Примечания</i>	385

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Фото В. Маяковского 1915 г.

Рисунки В. Маяковского к «Сказке о де-
зертире»

Афиша первого представления «Мистерии
Буфф»

В. Маяковский. Собрание соч. в 4-х томах
Том I. ГОСЛИТИЗДАТ. Москва, 1936.



Редактор В. А. Катанян
Технический редактор А. М. Цыппо
Переплет Н. Ф. Денисовского
Корректор О. Я. Хохлова



Сдано в набор 15/IV 1936 г.
Подписано к печати 26/VII 1936 г.
Формат бумаги $72 \times 94^{1/32}$. Тираж 75 000
12,5 печ. листов, авт. л. 20,9
Зак. изд. № 203



Изд. X-40 М $\frac{39}{1}$

Уполномоченный Главлита Б-26919
Зак. тип. № 1145



О т п е ч а т а н о
на бумаге
Каменской писчебумажной фабрики



Набрано и сматрицировано
в 1-й Образцовой типографии Огиза РСФСР
треста «Полиграфкнига»
Москва, Валовая, 28



Отпечатано
в 16-й типогр. треста «Полиграфкнига».
Москва, Трехпрудный пер., 9



Цена 3 р. Переплет 1 р.

100-08

